

A lion is perched on a nest of straw. Inside the nest are five eggs decorated with national flags: the United States, France, Germany, and the United Kingdom. One egg with the Union Jack is placed outside the nest in the foreground.

Лия
Гринфельд

Национализм

Пять путей
к современности

Лия Гринфельд

Национализм. Пять путей к современности

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12038574

Л. Гринфельд. Национализм. Пять путей к современности: ООО «ПЕР СЭ»; Москва; 2008

ISBN 978-5-9292-0164-6

Аннотация

Философская работа известного культуролога, профессора Бостонского университета Л. Гринфельд «Национализм» посвящена актуальному вопросу формирования национального самосознания в России, Англии, Франции, Германии и США. Какие предпосылки приводили к возникновению наций? Что за люди стояли у истоков, какие события влияли на этот процесс? Почему столь различными оказались как пути развития, так и сформированные национальные идеи? В своем фундаментальном труде автор детально и глубоко разбирает упомянутые проблемы в историческом контексте, начиная с зарождения наций и до сегодняшнего дня. Точка зрения автора во многом революционна, но исключительно убедительна, благодаря привлечению огромного количества фактологического материала: исторических трудов, свидетельств, писем и литературных источников, в том числе редких. Свои мысли автор излагает увлекательно и остроумно, что нечасто встречается в научной и даже научно-популярной литературе. Все это делает книгу интересной не только для специалистов, но и для широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.

Содержание

Вместо предисловия...	6
Введение	9
Определение национализма	10
Происхождение идеи «нации»	11
Зигзагообразная модель семантического изменения	12
От «Черни» к «Нации»	14
Возникновение партикуляристских национализмов	16
Типы национализма	18
Специфика национальной идентичности	20
Синописис	22
Суть проблемы	26
Структура книги	30
Глава 1. Божий первенец. Англия	35
Божий первенец. Англия	36
Отражение национального сознания в дискурсе и чувстве.	38
Изменения в лексике	
Язык парламентских документов	42
Ранние проявления национального чувства	48
Новая аристократия, новая монархия и протестантская	50
Реформация	
Английская Библия, кровавое царствование королевы Марии и	57
жгучий вопрос о личном достоинстве	
Мученичество и изгнанничество как катализаторы	60
национального сознания	
Англия как богоизбранный народ и знак Его любви	65
Звук их голосов	73
Перемена положения короны и религии в национальном	77
сознании	
Страна экспериментального знания	83
Глава 2. Три идентичности Франции	91
Развитие донациональной французской идентичности.	92
Франция – церковь и вера в «цветок лилии»	
Язык	97
Translatio Studii	99
Салический закон	100
Образ Франции	101
Ересь и ее дитя. Традиция и новаторство во французском	102
патриотизме XVI в.	
Франция – мать	106
Доктрины народного сопротивления	107
Божественное право королей	109
Король и его государство	112
Труды кардинала Ришелье по государственному обустройству	113
Франции	
Фронда	122
Людовик XIV	124

Социальные базы национализации французской идентичности и характер зарождающегося национального самосознания.	131
Обороты социального колеса: тяжелое положение французской аристократии	
Конец ознакомительного фрагмента.	135

Лия Гринфельд Национализм. Пять путей к современности

Liah Greenfeld

Nationalism: Five Roads to Modernity

© Harvard University Press. 2008

© ООО «ПЕР СЭ», оригинал-макет, оформление, 2008

* * *

Вместо предисловия...

Современная социология двулична.

На широкую публику она чаще всего является в образе представительницы самой древней профессии. В этом качестве она разъясняет ваши политические предпочтения, подводит итоги ближайших выборов, объясняет, как надо строить гражданское общество, кто может считаться настоящим демократом, а кто – нет, рассказывает, откуда берется коррупция и как с ней надо бороться. Ею протитутуируется общественное мнение, само общество сводится к «выборке респондентов», а результаты социологических исследований заведомо заданы тем, кто оплачивает ей свои заказы.

Сивилла, выдающая самосбывающиеся прогнозы, создательница технологий манипулирования общественным сознанием и поведением масс, эта ипостась социологии продает себя желающим оптом и в розницу. И неплохо, кстати, зарабатывает...

Книга, которую читатель держит в своих руках, относится к совершенно другой социологии. А именно, к фундаментальной науке о человеке как социальном существе и об обществе как социальном организме.

В этом своем образе современная социология отнюдь не выставляется напоказ. Она скромна и предьявляет свои выводы в монографиях и научных журналах. Их читатели не столь многочисленны, как аудитория социологии первого рода. Хорошо, если среди них будут хотя бы студенты социологических факультетов. Но чаще всего аудитория фундаментальной социологии ограничивается элитой академического сообщества, т. е. теми учеными, которых интересует, говоря словами Альберта Эйнштейна, то, что «действительно есть».

Именно таково и научное кредо автора книги «Национализм» Лии Гринфельд, социолога, авторитетного у себя на родине, в США, да и в мире. Как она сама определяет цель своего труда, книга эта «является попыткой понять мир, в котором мы живем» (настоящее издание, с. 8).

Социально-историческая и социально-политическая концепция Лии Гринфельд нашему читателю покажется необычной. Ведь она полагает, что «национализм – это тот фундамент, на котором зиждется современный мир» (там же). Это исходное утверждение автор доказывает на основе глубокого и разностороннего анализа типологических черт и особенностей национализма в Англии, Франции, России, Германии и Соединенных Штатах Америки. Как мы видим, Лия Гринфельд охватила своим анализом страны, которые с момента возникновения национализма (автор относит его к XVI веку) входили в число великих держав и во многом определили ход социально-исторического развития и современный миропорядок.

Социологические воззрения и методология автора «Национализм» сформировались, по ее собственным словам, под влиянием Макса Вебера. Кроме всего прочего, это означает, что в ее социологическом мировоззрении и видении общества больше человека, больше культуры, больше души – разумеется, это «больше» прежде всего в сравнении с теми социологами, которые видят в своей области знаний лишь одну из наук о поведении. В силу своей исследовательской позиции Л. Гринфельд рассматривает не только те или иные социальные структуры, институты, механизмы, факторы и транзакции, а живых людей и их образ мысли. На ее взгляд, действия людей, равно как и ход истории, не предопределены структурно, а порождены человеческим сознанием, выбором конкретных людей. В этом смысле общественное вновь и вновь порождается личным, видоизменяясь от человека к человеку и от поколения к поколению. Точно так развивается и идея, а точнее – социальный конструкт «национализм».

Исследовательские установки автора делают ее книгу захватывающе интересной, вовлекают в нее огромный историко-культурный материал. Под углом зрения темы национализма перед читателем проходит галерея исторических личностей пяти стран, исследуются их поступки, способы мышления, интересы, воздействие их на социальное развитие.

Сущность национализма Лия Гринфельд видит в том, что источником личной идентичности является народ. Она выделяет три типа национализма. Это национализм индивидуалистический, который зиждется на идее равенства конституционных прав всех членов нации (Англия, США). Это коллективистский и гражданский национализм, основанный на «культурной или политической уверенности в своих силах» (Франция, Германия). Наконец, это коллективистский этнический национализм (Россия), коренящийся в глубоком комплексе неполноценности, поощряющем веру в то, что уникальность нации следует видеть не в ее достижениях, в самой ее сущности, в особой душе, мы бы сказали, в пресловутом тютчевском «умом Россию не понять, в Россию можно только верить».

Содержание книги Гринфельд, ее ключевые выводы дают немало оснований для полемики с автором.

Пункт первый – происхождение национализма. Этимологически Гринфельд возводит сам термин «национализм» к нациям, на которые делилось студенчество Парижского университета с XIII века. А по сути она видит в нем новое социальное явление, если угодно, социальное открытие, совершенное в Англии в ходе формирования парламентской монархии и превращения страны в Британскую империю.

Не надо быть большим эрудитом, чтобы увидеть прафеномен современного политического национализма хотя бы в Древнем мире. Речь идет о том периоде истории, который Ясперс назвал «осевым временем». Именно тогда родственному национализму комплекс идей был осмыслен и глубоко укоренен в общественном сознании Древнего Китая, Древней Греции и Древнего Рима.

Пункт второй – ключевая роль национализма в создании современного миропорядка. Более привычный взгляд на социально-политическое развитие, признавая огромную роль национализма в жизни общества, видит в нем все же не первопричину и источник общественных перемен, а нечто производное от тех сил, которые формируют крупные социальные общности. В этом контексте мы бы назвали национализм и следствием, и причиной новоевропейской социодинамики. Вряд ли национализм больше повлиял на ход развития общества, чем, например, технологические перевороты или трансформации социально-экономических отношений. А следовательно, национализм не был архитектором современности в смысле Л. Гринфельд.

Мы считаем наши утверждения основательными, но все же полагаем, что фундаментальный труд «Национализм» Лии Гринфельд войдет (или даже уже вошел) в анналы творческой социологической мысли. И особую актуальность книге придает, как ни парадоксально, развернувшийся на наших глазах процесс глобализации, который, как можно предположить, либо похоронит национализм, либо переведет его в другой модус. Во всяком случае, мы являемся свидетелями грандиозной схватки глобализма и национализма.

Как представляется, совершенно исключительное значение принадлежит публикации книги Л. Гринфельд именно на русском языке. В том числе и потому, что на первое десятилетие XXI века пришлась небезуспешная попытка реновации российского (теперь уже российского, а не русского) национализма, которая совершается по инициативе и при активной роли государственно-политической и экономической элиты. Вспомним только о партии «Единая Россия», о претензиях на лидерство в различных областях экономики, науки, культуры, очень ярко это проявляется в спорте, в массах укореняется лозунг «Вперед Россия!». Думается, что книга Л. Гринфельд поможет нам осознать – что это все означает и к чему может привести.

Наконец, надо сказать и том, что Л. Гринфельд продемонстрировала весьма посредственное знание русской истории, социальной жизни и культуры. Полагая, что у России не было самобытных культурных предпосылок для конституирования своей модели национализма, она считает русский национализм заимным и ужасается его разрушительному характеру.

Эти, прямо сказать, нелестные для россиян суждения приводят к некоторым существенным выводам. Главный из них состоит в том, что даже такой добросовестный автор, как Л. Гринфельд, не имела возможности познакомиться с серьезными исследованиями по социальной истории России. А причина этого состоит в том, что таких исследований у нас просто-напросто нет. Если российские исследователи могут опираться на первоисточники и труды историков XIX века, то зарубежные ученые, можно сказать, не видят российских социальных реалий и достижений прошлого, ибо они не представлены в поле актуальной научной информации, не вовлечены в научный оборот. Российское прошлое ныне стало *terra incognita* куда в большей мере, чем в XIX и даже в XVIII веках.

Еще один вывод произведен от предшествующего. Он заключается в том, что и наша отечественная социологическая, культурологическая, политологическая мысль зависит от западной не только методологически, но и в осмыслении своего особого предмета. Если угодно, она страдает комплексом неполноценности и во многом носит заимный характер, что дает дополнительные аргументы в пользу позиции Лии Гринфельд. А многие наши современные чаадаевы, не ведающие своего прошлого, просто разделяют ее точку зрения. В этом смысле предвзятость Лии Гринфельд в отношении России – следствие нашего собственного недомыслия, которое явилось для нее единственным источником обобщений.

Но не все так мрачно. Как мне кажется, книга Лии Гринфельд «Национализм» в той части, которая посвящена России, должна в конечном счете найти у нас в социологической среде мыслящих оппонентов, которые дадут американскому ученому развернутый, аргументированный и вполне уважительный ответ. Такой ответ, который в силу его научного уровня и научного же значения не смогут проглядеть, не позволят себе игнорировать наши зарубежные коллеги.

С уважением и симпатией к автору и читателям книги

Вера Брофман

Введение

Эта книга является попыткой понять мир, в котором мы живем. В основу моего труда легло предположение, что национализм – это тот фундамент, на котором зиждется современный мир. Чтобы понять смысл данного утверждения, следует объяснить, что такое национализм. Слово «национализм» используется здесь в качестве термина, охватывающего относящиеся к нему понятия национальной идентичности (или национальности) и национального сознания. Кроме того, с этим термином ассоциируются общности, основанные на этих понятиях – то есть нации. Изредка национализмом называют четко сформулированную идеологию, на которой покоятся национальная идентичность и национальное сознание. Когда же его не используют для обозначения этой идеологии, то, если это специально не оговорено, национализм чаще всего соответствует политически активным ксенофобным формам национального патриотизма.

Как и почему возник национализм? Как и почему он трансформировался в процессе своего перехода из одной страны в другую? Как и почему различные формы национальной идентичности и национального сознания были перенесены на формы общественного строя и модели культур, и таким образом были созданы социальные и политические структуры общностей, впоследствии ставшие нациями? Вот те специфические вопросы, которые рассматриваются в этом исследовании. Чтобы ответить на них, я решила сосредоточить свое внимание на пяти важнейших общностях, которые первыми определили себя как нации: Англии, Франции, России, Германии и США.

Определение национализма

Специфичность национализма, отделяющего национальность от других видов идентичности, проистекает из того, что источником личной идентичности в рамках национализма является народ. Народ рассматривается как носитель верховной власти, как главный объект преданности и основа коллективной солидарности. Народ – есть масса населения. Форма и природа этой массы могут быть определены различными способами, но эту массу обычно воспринимают как нечто большее, чем любая конкретная группа, и всегда как нечто однородное и только искусственно разделенное по статусу, классу, месту жительства и, в некоторых случаях, даже по этнической принадлежности. Эта специфичность концептуальна. Единственным основанием национализма как такового, единственным условием, без которого национализм не может возникнуть, является наличие идеи; национализм есть определенное видение мира или стиль мышления [1]. Идея, являющаяся главной для национализма, есть идея «нации».

Происхождение идеи «нации»

Чтобы понять сущность идеи «нации», будет, вероятно, полезно рассмотреть те семантические метатезы, которые в результате закрепились в этом слове в процессе его исторических изменений. Ранние стадии истории слова исследовал итальянский ученый Guido Zernatto [2]. Происходит оно от латинского *natio* – нечто рожденное (помет, приклад). Первоначально понятие употреблялось с уничижительным оттенком: в Риме слово *natio* обозначало группу иностранцев, происходивших из одного географического региона (земляков), чей статус – поскольку они были иностранцами – был ниже статуса римских граждан. Таким образом, это понятие было аналогично по значению греческому *ta ethne*, также используемому в отношении иностранцев, и особенно, язычников и библейскому *amamim*, то есть племенам, которые не принадлежали к избранному монотеистическому народу. У слова были также и другие значения, но менее употребляемые, и данное значение – как группы иностранцев, объединенных местом своего рождения – долгое время оставалось главным семантическим значением этого слова.

Характеризуя иностранцев, слово «нация» употреблялось в подобном значении для студенческих сообществ (землячеств), имевшихся в некоторых университетах Западного христианского мира. Студенты там объединялись по довольно приблизительному региональному признаку – как лингвистическому, так и географическому. Так, в Парижском университете, великом центре теологического обучения, было четыре нации: «L'honorable nation de France», «La fidèle nation de Picardie», «La venerable nation de Normandie» и «La constante nation de Germanie». Нация Франции включала в себя всех студентов из Франции, Италии и Испании; нация Германии – студентов из Англии и Германии; пикардийская нация – была зарезервирована за голландцами, нормандская нация включала в себя студентов с Северо-Востока. Важно отметить, что у студентов существовала национальная идентичность только когда они были студентами, то есть в большинстве случаев, когда они жили за границей. Эта идентичность моментально исчезала, когда студенты заканчивали учебу и возвращались в родные пенаты. При употреблении в таком контексте слово «нация», с одной стороны, теряло свое уничижительное значение, а с другой стороны, приобретало дополнительный смысл. Благодаря специфической структуре университетской жизни той эпохи, студенческие сообщества функционировали как группы поддержки или союзы, и так как эти группы регулярно оказывались противниками в схоластических диспутах, то каждой стороне приходилось вырабатывать единое мнение. В результате слово «нация» стало значить больше, чем просто сообщество, объединенное по месту рождения: теперь оно обозначало сообщество, объединенное общими принципами и общей целью.

Слово претерпело еще одно изменение, поскольку университеты посылали своих представителей для разрешения споров по важным церковным вопросам на церковные соборы. С конца XIII в., начиная с Лионского церковного собора 1274 года, новое понятие – нация как сообщество единого мнения – применялось в отношении сторон «церковной республики». Но представители различных внутрицерковных подходов были также и представителями светских и религиозных властителей. И, таким образом, слово «нация» приобрело еще одно значение: а именно сообщества, представляющего культурную и политическую власть, или значение политической, культурной, а впоследствии и социальной элиты. Zernatto цитирует Монтескье, Жозефа де Местра и Шопенгауэра, чтобы показать, насколько поздно именно это значение стало общепринятым. Невозможно ошибиться в его смысле, читая знаменитую цитату из *Esprit des lois* («Дух закона»): «При двух первых династиях часто собирали нацию, то есть синьоров и епископов; к черни нация не имела никакого отношения» [3].

Зигзагообразная модель семантического изменения

На этом месте история Zernatto заканчивается, а мы можем остановиться, чтобы взглянуть в нее попристальней. В некотором отношении история слова «нация» позволяет предвосхитить схему анализа, по большей части используемую в данной книге. Последовательные изменения в значении складываются в модель, которую можно, из формальных соображений, назвать «зигзагообразной моделью семантического изменения». На каждой стадии своего развития значение слова, которое приходит с определенным семантическим багажом, возникает из использования слова в конкретной ситуации. Уже имеющееся общепринятое понятие применяется в новых обстоятельствах к тем аспектам ситуации, с которыми это понятие соотносится. Однако отсутствовавшие ранее аспекты новой ситуации начинают с этим понятием ассоциироваться; в результате возникает двойственность значения понятия. Изначальное значение постепенно уходит в тень, и общепринятым становится новое значение. Когда слово опять используется в новой ситуации, оно, скорее всего, используется в этом новом значении, и так далее. (Эта модель показана на рис. 1).

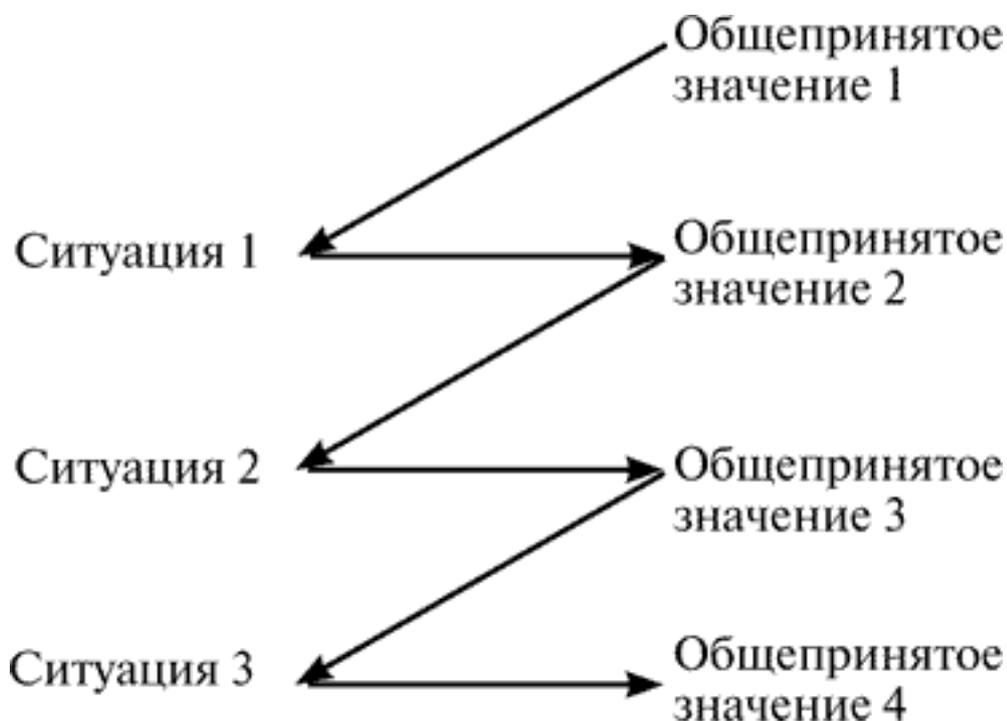


Рис. 1. Зигзагообразная модель семантического изменения

Структурные (ситуативные) рамки, с помощью которых формируются новые понятия (значения слов), заставляют процесс семантической трансформации постоянно менять направление. В то же самое время структурные рамки осмысляются, интерпретируются или определяются в терминах этих понятий. Определение ситуации меняется с возникновением данных понятий, которые, в свою очередь, переориентируют действие. Социальная сила и психологические эффекты подобной переориентации варьируются в соответствии со сферой применения понятия и в зависимости от того, насколько главенствующим является место этого понятия во всем существовании субъекта действия. Студент средневекового университета, принадлежащий к той или иной нации, был в состоянии понять, где ему следует жить, с какими людьми он будет наиболее тесно общаться и поддержки каких специфических мнений от него ожидают в течение нескольких лет его учебы. В другое время его

«национальная идентичность», скорее всего, ни в поведении, ни в самовосприятии никак не проявлялась: вне узкой университетской сферы это понятие приложения не имело. Влияние столь же мимолетной национальной идентичности на участника церковного собора могло быть гораздо глубже. Членство в нации определяло его как человека с очень высоким статусом. Воздействие такого определения на самовосприятие могло стать постоянным, и давнишняя память о национальности могла влиять на поведение человека существенно дольше, чем длились соборные дискуссии, даже когда его нации больше не существовало.

От «Черни» к «Нации»

Сфера приложения идеи нации и потенциальная сила этой идеи увеличились стократ, когда значение слова «нация» изменилось снова. В определенный исторический момент – а именно в Англии начала XVI в. – слово «нация» в его «соборном» значении «элита» было применено в отношении населения страны и стало синонимично слову «народ». **Эта семантическая трансформация означала возникновение первой в мире нации, нации в современном смысле этого слова – и возвестила начало эры национализма.** Эта концептуальная революция имела колоссальнейшее значение, значение, которое подчеркивалось еще и тем фактом, что до своей национализации слово «народ» обозначало население определенного региона, и именно низшие классы этого населения. Слово это наиболее часто использовалось в значении «чернь» или «плебс». Понятия «нация» и «народ» стали тождественны. Таким образом, народные массы сразу возвысились до положения элиты (сначала только политической). В качестве синонима слова «нация» – то есть элита – слово «народ» утратило уничижительный оттенок и стало обозначать позитивное единство в самом высшем смысле. «Народ» стали видеть носителем верховной власти, основой политической солидарности и главнейшим объектом преданности. Такому переопределению ситуации должен был предшествовать колоссальный сдвиг в мировоззрении. Переопределение ситуации еще и закрепило этот сдвиг, ведь теперь представители всех сословий отождествляли себя с группой, от которой ранее люди, более или менее благополучные, только и мечтали откеститься. Что же привело к подобному изменению в первом случае (в Англии. – *Прим. пер.*) и потом происходило снова и снова, по мере того как национальная идентичность замещала другие типы идентичности в одной стране за другой? Ответ на этот вопрос в каждом конкретном случае является главным предметом и центральной дискуссионной темой этой книги.

Национальная идентичность в ее современном смысле есть, следовательно, идентичность, которая выводится из принадлежности к «народу», основной характеристикой которого является определение его как нации. Каждый представитель переопределенного подобным образом «народа» приобщен к его высшей, элитарной сущности, и именно вследствие этого стратифицированное национальное население воспринимается как, по существу, однородное, а классовые и статусные различия как искусственные. Этот принцип лежит в основе национализма каждой нации и является подтверждением того, что их можно рассматривать как выражение одного и того же феномена. Во всем остальном в различных национализмах мало общего. Национальные населения, именуемые по-разному – «народами», «нациями», «национальностями», – определяют различным образом, и критерии членства в них тоже варьируются. Возникающее многообразие форм является источником концептуально неуловимой, протейской природы национализма. Оно же служит причиной постоянного расстройств тех, кто его изучает, – они тщетно пытаются определить его с помощью то одного, то другого «объективного» фактора. Все эти факторы можно считать относящимися к проблеме, только если к ним применяется национальный принцип. Здесь предлагается определение национализма как эмерджентного феномена (*emergent phenomenon*), то есть феномена, чья природа – так же как и возможности развития элементов, из которых он состоит – обусловлена не характером этих элементов, а определенным организующим принципом, создающим из этих элементов единство и придающим им специальное значение [4].

У всех факторов, которыми национализм обычно определяется – будь то общая территория или общий язык, общее государство, традиции или раса, – присутствуют существенные исключения. Ни одно из этих понятий не оказалось для национализма неизменным и необходимым. Но из определения, данного выше, следует не только что подобных исключе-

ний следует ожидать, но и что национализм не обязательно соотносится хоть с каким-либо из этих факторов, хотя, как правило, его можно соотнести с некоторыми из них. Другими словами, **национализм необязательно принимает форму партикуляризма**. Национализм – это политическая идеология или класс идеологий, развивающихся на основе одного, базового принципа. Эту идеологию нет необходимости соотносить с какой-либо отдельной общностью [5]. Понятие нации, соизмеримой со всем человечеством, никоим образом не является противоречивым. Соединенные Штаты Мира, которые, возможно, будут когда-либо существовать в будущем, такие штаты, где верховная власть будет по закону принадлежать населению и где различные слои этого населения будут равны, станут нацией в точном смысле этого слова в рамках определения национализма.

Возникновение партикуляристских национализмов

В настоящее время, однако, наиболее часто встречающейся и характерной формой национализма является партикуляризм. Более того, если сравнивать его с теми формами партикуляризма, которым он пришел на смену, то, в своей нынешней форме, он особенно эффективен или, в зависимости от точки зрения, наиболее пагубен. Происходит это потому, что каждый человек самоопределяется в соответствии с членством в национальном сообществе; таким образом, чувство долга перед этим сообществом и перед его коллективными целями распространяется все более широко. В разделенном на отдельные сообщества мире национальная идентичность, как правило, имеет тенденцию к тому, чтобы ее связывали и смешивали с чувством национальной исключительности сообщества и с теми свойствами, которые его отличают. Эти социальные, политические, культурные в узком смысле или этнические свойства [6], таким образом, приобретают огромную важность в формировании каждого отдельного национализма. Связь между национальностью сообщества и его исключительностью выражается в последующей и последней трансформации значения слова «нация», и это значение можно вывести из зигзагообразной модели семантического (по умолчанию социального) изменения.

Слово «нация», которое в своем тогдашнем главном значении «элита» было применено по отношению к населению отдельной страны (Англии), стало осознанно ассоциироваться с существующими (политическими, территориальными и этническими) оттенками значения слов «население» и «страна». В то время как интерпретация этих оттенков значения в терминах понятия «нация» изменила их значимость, само понятие «нация» тоже претерпело изменения. Это понятие, неся в себе дополнительные смысловые оттенки: «население» и «страна», стало обозначать «суверенный народ». Новое значение заменило старое значение понятия «нация» как «элита» сначала только в Англии. Как можно судить по определению Монтескье, во всех прочих странах старое значение этого понятия еще долго оставалось доминирующим, но в конце концов и там тоже ему на смену пришло новое значение.

Слово «нация», которое теперь значило «суверенный народ», стало применяться в отношении других народов и стран, которые, естественно, как и первая нация, имели свои собственные политические, территориальные и/или этнические свойства. И это слово также стало ассоциироваться уже с их геополитическим и этническим багажом. В результате этих ассоциаций [7] слово «нация» опять изменило свое значение и стало обозначать «**особый** (unique) суверенный народ». (Рис. 2).

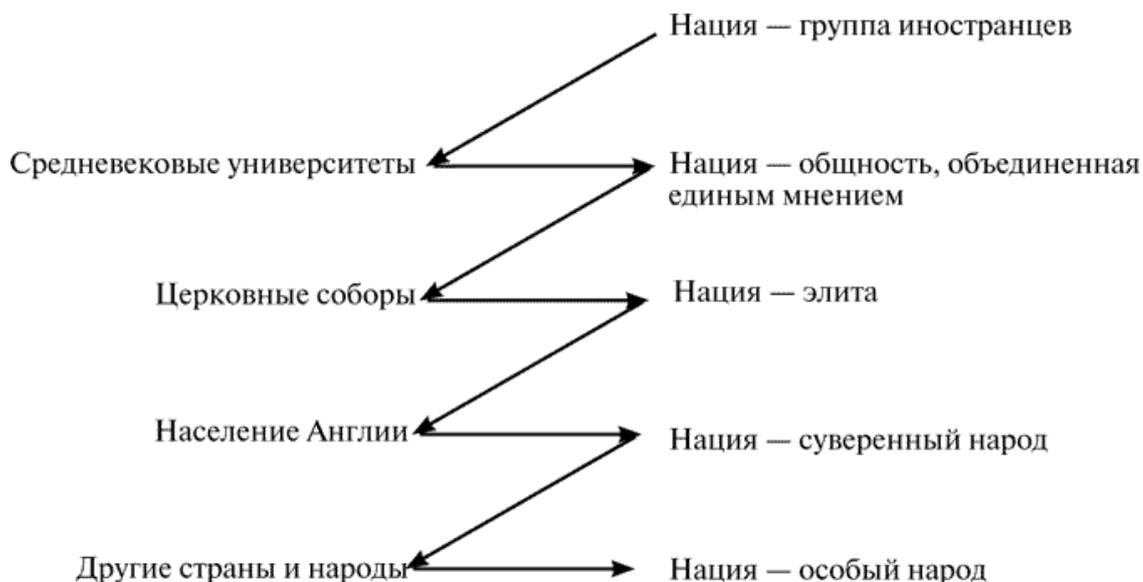


Рис. 2. Трансформация идеи «нация»

Из-за этой последней трансформации и возникла та понятийная путаница, царящая в теориях, рассматривающих национализм. Новое понятие «нация» в большинстве случаев заслоняет предшествовавшее старое, так же как, в свою очередь, это старое заслонило то, что непосредственно предшествовало ему. Важно то, что это произошло не везде. Благодаря своей живучести, и, как мы увидим, благодаря развитию в некоторых странах структурных условий, необходимых для эволюции изначальной не партикуляристской идеи «нация», старое понятие сосуществует вместе с новым.

Термин «нация», применяемый относительно обоих понятий, скрывает в себе важные различия. Возникновение более свежего понятия означало глубокий переворот в природе национализма, и теперь два понятия под одним и тем же наименованием отображают две резко отличающиеся друг от друга формы феномена национализма. Это также означает наличие двух резко отличающихся друг от друга форм национальной идентичности и национального самосознания и два резко отличающихся друг от друга типа национальных общностей – наций.

Типы национализма

Два направления национализма явно и тесно связаны между собой, но основываются на отличных друг от друга ценностях и развиваются по-разному. Они также служат источником возникновения различных моделей социального поведения, культуры и политических институтов, которые часто осмысляются как непохожие «национальные характеры».

Вероятно, самое важное различие связано с отношением между *национализмом* и *демократией*. Признание за народом верховной власти и признание глубинного равенства разных слоев народа, составляющие сущность современной национальной идеи, в то же самое время являются главными принципами демократии. Демократия родилась с чувством национальности. Демократия и национализм внутренне связаны между собой, и их нельзя полностью понять в отрыве от этой глубинной связи. Национализм был той формой, в которой демократия впервые явилась миру, спрятанная в идее «нация», как бабочка в коконе. Изначально национализм развивался *как* демократия: там, где сохранялись условия для такового развития, эти два понятия стали тождественны. Но с распространением национализма в различных странах и в связи с тем, что главный упор в национальной идее стал делаться на исключительность народа, а не на верховность его власти, изначальное тождество национальных и демократических принципов было утеряно. Следует подчеркнуть, что в вышесказанном подразумевается: демократию нельзя экспортировать. Некоторые нации могут быть к ней глубинным образом предрасположены, в том смысле, что это предрасположение встроено в их определение как наций, то есть в их изначальное понятие «нация». Другим же нациям подобная предрасположенность глубоко чужда и для того чтобы они могли воспринять и развивать демократическую идею требуется изменение их самоопределения.

Возникновению первоначальной (в принципе, не партикуляристской) идеи нации как суверенного народа, очевидно, предшествовала трансформация характера соответствующего народа. Эта трансформация предполагала символическое возвышение «народа» и определение его как политической элиты, другими словами, глубокое изменение структуры общества. Возникновение последующего партикуляристского понятия стало результатом применения первоначальной идеи к условиям, где подобная трансформация могла и не произойти. Это были те дополнительные, для изначального понятия случайные смыслы, заложенные в понятиях «народ» и «страна», которые подсказали и сделали возможным такое применение национальной идеи. В обоих случаях идея «нация» подразумевала символическое возвышение населения (и поэтому создание нового социального устройства, новой структурной реальности). Но, если в первом случае идея вытекала из сложившейся общественной ситуации, которая предшествовала ее возникновению – народ вел себя как некая политическая элита и в реальности осуществлял верховную власть, – то во втором случае последовательность событий была противоположной. Здесь идея верховной власти народа была импортирована как неотъемлемая часть национальной идеи и послужила толчком к трансформации социальной и политической структуры.

Во время этой трансформации сущность верховной власти неизбежно переосмысливали. Верховная власть народа (его национальность), которую можно было *наблюдать на практике*, в первом случае означала лишь то, что некоторые отдельные личности *из народа* осуществляли эту верховную власть. В идее «нация», предполагающей верховную власть народа, этот опыт признавался и осмысливался. Национальный принцип, который развивался на этой почве, был индивидуалистическим – в существующей верховной власти отдельных личностей подразумевалась верховная власть народа. Именно потому, что эти отдельные личности (из народа) осуществляли эту власть на деле, они и были представителями нации. *Теоретическая* суверенная власть народа, во втором случае по контрасту, исхо-

дила из исключительности, особенности этого народа, собственно из его существования в качестве отдельного народа, потому что нация обозначала именно это, а нация была суверенной. Национальный принцип был коллективистским; он отражал коллективное существование. Коллективистские идеологии, по существу, авторитарны, ибо, если рассматривать общество как единое целое, то оно может принять образ коллективной личности, обладающей единой волей, и тогда кто-то должен эту волю толковать. Такое одушевление общества создает (или сохраняет) коренное неравенство между теми немногими его членами, которые имеют достаточную квалификацию, чтобы эту коллективную волю толковать, и большинством, не имеющим этой квалификации. Немногие избранные повелевают массами, которые должны подчиняться.

Эти две различные интерпретации верховной власти народа и лежат в основе двух типов национализма, один из которых можно определить как индивидуалистический – либертарианский (обладающий свободой воли), а второй – как коллективистский (авторитарный). Кроме того, национализмы могут различаться по критерию членства в национальной общности, который может быть как гражданским, то есть членство тождественно гражданству, так и этническим. В первом случае национальность, в принципе, является открытой и добровольной, ее можно, а иногда и нужно получить. Во втором случае считается, что национальность есть нечто врожденное, приобрести ее нельзя, если у человека ее нет, и нельзя изменить, если она имеется, к личной воле она не имеет никакого отношения и является как бы генетической характеристикой. Индивидуалистический национализм не может не быть гражданским, но гражданский национализм может быть также и коллективистским. Чаще, однако, коллективистский национализм принимает форму этнического партикуляризма, а этнический национализм непременно бывает коллективистским. (Рис. 3).

	<i>Гражданский</i>	<i>Этнический</i>
<i>Индивидуалистский — либертарианский</i>	Тип 1	Отсутствует
<i>Коллективистский — авторитарный</i>	Тип 2	Тип 3

Рис. 3. Типы национализма

Конечно, следует иметь в виду, что это лишь категории, служащие для обозначения определенных характерных тенденций внутри различных – специфических (частных) – национализмов. Их нужно рассматривать как модели, которые вряд ли когда-либо будут полностью реализованы, но приближение к которым возможно. В действительности ясно, что наиболее часто встречающийся тип – смешанный. Но составы смесей варьируются достаточно значительно, чтобы классифицировать их именно в этих терминах и снабдить классификаторов полезным инструментом для анализа.

Специфика национальной идентичности

Если определять национализм как особую умозрительную перспективу, то чтобы понять, в чем заключается национальная идентичность, следует, очевидно, объяснить, как эта перспектива – основная идея «нация» и ее различные интерпретации – появилась на свет. Понятно, что национальную идентичность не следует путать с другими типами идентичности, у которых этой перспективы нет, ее невозможно объяснять в общих терминах или в терминах, определяющих любой другой тип идентичности. Это утверждение заслуживает того, чтобы повторить его еще раз, потому что национальную идентичность часто отождествляют с коллективной идентичностью как таковой.

Национализм не имеет отношения к членству в человеческих общностях (communities), а только к членству в общностях, определяемых как «нации». Национальная идентичность отличается от сугубо религиозной или классовой идентичности. Она также не является синонимом только языковой или территориальной идентичности или политической идентичности определенного рода, такой, например, как идентичность, возникающая, когда человек является подданным определенной династии; или даже некоей особенной (unique) идентичности, как то чувства «французскости», «английскости» или «немецкости», которое обычно ассоциируется с национальной идентичностью.

Подобные идентичности являются предметом обсуждения в данной книге, только если они влияют на формирование национальной идентичности и, в результате, оказываются важными для ее понимания, что бывает далеко не всегда. Часто особенная идентичность, характер которой, в зависимости от источника исключительности, может быть религиозным или лингвистическим, территориальным или политическим, способна существовать веками до того, как национальная идентичность сформируется окончательно, при этом не обеспечивая и не предвосхищая эту национальную идентичность, – так случилось во Франции и, до известной степени, в Германии. В других случаях чувство особенности могло быть озвучено одновременно с возникновением национальной идентичности, как это произошло в Англии и, совершенно очевидно, в России.

Случается даже, хотя это и очень необычно, что национальная идентичность предшествует формированию особенной; развитие идентичности в Америке пошло этим путем. Национальная идентичность не есть идентичность общая (generic), она есть идентичность специфическая (особая). Образование идентичности как таковой может быть психологической необходимостью, склонностью человеческой натуры. Образование национальной идентичности таковой необходимостью не является. Важно об этом не забывать.

В этнических национализмах термин «национальность» становится синонимом этнической принадлежности, и национальная идентичность часто воспринимается как осмысление или осознание того, что человек обладает исконными или унаследованными групповыми характеристиками, компонентами этничности, такими как язык, обычаи, территориальная принадлежность и физический тип.

Подобная объективная этничность сама по себе, однако, не представляет собой идентичность, даже и этническую. Почти все люди обладают некоторым этническим «наследством», и в этом смысле этничность универсальна, но идентичность уроженца Англии, человека английского происхождения, англоязычного, может быть идентичностью христианина; идентичность уроженца и жителя Франции, франкоязычного и безусловного француза по вкусам и привычкам, может быть идентичностью дворянина. Этническая принадлежность этих людей никак не будет влиять ни на их мотивы, ни на их действия. На нее будут смотреть, если вообще ее заметят, как на вещь чисто случайную. Главной характеристикой любой идентичности является то, что ее обладатель всегда себя с ней отождествляет. Поэтому, она

либо существует, либо нет, она не может быть латентной, а потом пробудиться, как некая болезнь. Ее нельзя предугадать, исходя из объективных характеристик, какая бы тесная связь между ними иногда ни существовала. Идентичность есть самовосприятие. Если определенная идентичность ничего не значит для данного населения, следовательно, данное население не обладает этой идентичностью [8].

Этничность группы (ее существование в качестве этнической общности), предполагает, что эта группа имеет древнее и единообразное происхождение, в результате которого ее можно рассматривать как естественную группу и свойства этой группы можно считать врожденными для населения. Врожденные свойства часто являются основой группового чувства особенности или того, что я в этом тексте называю особенной, «специфической (unique) идентичностью». Но этничность не порождает особенную идентичность. Этого не происходит потому, что из существующих этнических характеристик отбираются только некоторые и не всегда одни и те же в каждом случае. Кроме собственно наличия и яркости тех или иных свойств отбор определяется еще многими другими факторами. Более того, нет четкой границы, отделяющей отбор уже существующих характеристик от искусственного создания характеристик, которые в результате окажутся отобранными. Язык части страны может быть навязан всему населению и провозглашен для всех родным или, если нет такой части населения, он может быть просто изобретен. Исконная территория, возможно, в прошлом была завоевана, общая история может быть сфабрикована, традиции могут быть воображаемыми и спроецированными в прошлое. Следует добавить, что специфическая идентичность группы не обязательно бывает этнической, потому что группа может не считать ни одно из этих (предположительно) глубинных свойств населения, источником своей особенности (исключительности). Она может, к примеру, концентрироваться, как это произошло во Франции, на личных свойствах короля или на высокой академической культуре. У некоторых народов вообще, как это ни странно, нет этнических характеристик. Население США, идентичность которого, безусловно, национальна, обладающее хорошо развитым чувством особенности (исключительности), именно таково: у него нет этнических свойств, потому что это население не есть этническая общность.

Национальная идентичность часто использует этнические характеристики. Это очевидно в случае этнических национализмов. Однако следует подчеркнуть, что сама по себе этничность не имеет отношения к национальности. Этнические свойства представляют собой некий поддающийся организации сырой материал, которому можно придать смысл разнообразными способами. Таким образом, они могут стать элементами любого числа идентичностей. В отличие от них национальная идентичность дает организующий принцип, применимый к различным факторам, которые этот принцип затем наделяет значением, превращая их в элементы специфической идентичности.

Синописис

Изначальная национальная идея возникла в английском обществе в XVI в., которое и стало первой нацией в мире. Англичане оставались единственной нацией на протяжении почти двухсот лет (за исключением, возможно, народа Голландии). Индивидуалистический гражданский национализм, который развился в Англии, унаследовали английские колонии в Америке, и он стал отличительной чертой Соединенных Штатов.

Партикуляристский национализм отделил значение слова «нация» как «народа», превозносимого в качестве носителя верховной власти, центрального объекта коллективной преданности и основы политической солидарности, от значения слова «нация» как «элиты», смешав его с геополитическими и/или этническими характеристиками отдельных народов. Однако это произошло лишь в XVIII в. в Европе, откуда и распространилось потом по всему миру. Коллективистский национализм появился сначала и почти одновременно во Франции и России, затем в самом конце XVIII – начале XIX вв. в немецких княжествах. В то время как Франция, со многих точек зрения, представляет собой случай противоречивый – ее национализм был коллективистским и тем не менее гражданским – Россия и Германия являют собой яркие примеры этнического национализма.

Когда в XVIII в. национализм начал распространяться, новые национальные идентичности возникли не в результате создания новой идеи, а путем заимствования идеи уже существующей. Господствующее положение Англии в Европе XVIII в. и затем господствующее положение Запада в мире, сделало национальность каноном. Поскольку сфера влияния ставших нациями передовых обществ Запада распространялась все шире, общества, желающие попасть в международную систему с центром на Западе, фактически не имели иного выбора, кроме как стать нациями [9]. Развитие национальных идентичностей было по существу интернациональным процессом, а источники этого процесса во всех случаях, кроме первого (Англия), находились вне возникающей нации.

В то же время, по некоторым причинам, каждый национализм был явлением местным. Только лишь существование понятия не смогло бы побудить никого принять иностранный образец, сколь бы успешным он ни был. Оно не могло быть и причиной изменения идентичности и той трансформации людей и общества, которую подразумевало это фундаментальное изменение. Чтобы такая трансформация произошла, те, кто находился под ее влиянием, должны были очень ее хотеть или их должны были вынудить через нее пройти. Процесс изменения идентичности должен был так или иначе проходить в интересах групп, эту идентичность импортировавших [10]. В частности, этому событию должна предшествовать неудовлетворенность этих групп той идентичностью, которую они имели ранее. Смена идентичности предполагает ее кризис.

Так оно и происходило. Неудовлетворенность отражала глубинную несовместимость социального строя, соответствующего существующей идентичности, и жизненного опыта лиц, которые принимали участие в изменении этой идентичности. Такая ситуация могла возникнуть из-за перемещения всех слоев населения вверх и вниз, из-за объединения социальных ролей, подразумевающего противоречивые требования к личности, или из-за образования новых социальных ролей, не подпадающих ни под одну из существующих категорий. Но какой бы ни была причина кризиса идентичности, структурно он всегда выражался одинаково в виде аномии (путаницы социальных норм и ценностей) [11]. В подобной ситуации необязательно могло находиться все общество в целом, однако она напрямую затрагивала заинтересованных лиц, то есть тех, кто участвовал в создании или в заимствовании национальной идентичности. Поскольку лица эти были в каждом случае различными, то аномия выражалась и переживалась по-разному. Очень часто она принимала форму статусной

неопределенности и противоречивости (*status inconsistency*), которая по природе своей могла сопровождаться глубоким чувством незащищенности и тревоги.

Специфическая суть изменения и его влияние на участвующих в нем людей очень глубоко повлияли на характер национализма, возникшего в разных странах. Лежащие в основе национализма идеи были оформлены и модифицированы в соответствии с давлением ситуации на ее участников и в соответствии с ожиданиями, разочарованиями, горестями и интересами, которые это давление порождало. Кроме того, национальные идеи часто переосмысливались в терминах местных традиций. Эти традиции могли сосуществовать с господствующей идейной системой, на которой покоилась к тому времени отвергаемая традиционная идентичность. Национальные идеи могли быть переосмыслены и в терминах тех элементов самой господствующей идейной системы, которые не отвергались. Подобное переистолкование подразумевало, что в зарождающееся национальное сознание включались элементы донационального образа мышления. Эти элементы затем в нем развивались и усиливались.

Эффект от этого структурного и культурного влияния часто совмещался с влиянием определенного психологического фактора. Они, совместно, неизбежно влекли за собой переосмысление импортированных идей и определяли направление этого переосмысления. Для каждого общества, импортировавшего идею нации, центром внимания непременно становился источник импорта – объект подражания по определению, – и оно реагировало на этот источник. Поскольку в собственном восприятии подражателя образец был лучше подражания – это подразумевается в самом понятии образца, – то связь между образцом и подражанием скорее подчеркивала несовершенство подражателя, и реакция на источник заимствования обычно принимала форму *ressentiment* (чувство ненависти, злобы и обиды). Термин этот ввел Ницше. Впоследствии, Макс Шелер (Max Scheler) определял и изучал *ressentiment* как психическое состояние, возникающее в результате подавленных чувств зависти и ненависти (экзистенциальной зависти) и невозможности удовлетворить эти чувства [12]. Социологическая основа для развития *ressentiment* – или структурные условия, необходимые для развития этого психического состояния – имеют двойной характер. Первое условие (структурный базис самой зависти) – изначальная сравнимость субъекта и объекта зависти, или скорее вера субъекта в изначальное равенство между ними, которое делает их в принципе равнозначными. Второе условие – это реально существующее неравенство (воспринимаемое как случайное) такого размера, что оно исключает практическое достижение теоретического равенства. Наличие этих условий создает ситуацию, чреватую *ressentiment*, независимо от темпераментов и психического склада отдельных личностей, составляющих рассматриваемое население. Результат *ressentiment* – такой же, как и у аномии. Этот результат подобен «эффекту Токвиля» – так называет это явление Фюре (Furet), когда говорит о выводах Алексиса Токвиля (Alexis Tocqueville) относительно особого значения, придаваемого равенству в предреволюционной Франции [13]. Во всех этих случаях созидательный импульс возникает из-за психологически невыносимой несовместимости, противоречивости некоторых аспектов реальности.

Созидательная сила *ressentiment* – и ее социологическая важность – состоит в том, что это чувство может в конце концов привести к «переоценке ценностей», то есть к трансформации ценностной шкалы. Эта трансформация происходит таким образом, что изначальные высшие ценности очерняются, их заменяют другими, которые в изначальной шкале ценностей были несущественными, поверхностными или даже имели отрицательный смысл. Термин «переоценка ценностей», возможно, не совсем правилен, потому что в действительности происходит не полный переворот первоначальной иерархии. Принять ценности, прямо противоположные тем, что были у других, значит заимствовать их с обратным знаком. Общество с хорошо развитой институциональной структурой и богатыми культурными

традициями вряд ли будет заимствовать что-либо и где-либо целиком и полностью. Однако поскольку созидательный процесс, возникающий в результате *ressentiment*, по определению есть реакция на чужие ценности, а не на собственное, не зависящее от других положение, то новая, порождаемая этим процессом система ценностей обязательно находится под влиянием изначальной системы ценностей. Именно благодаря этому, философии *ressentiment* характеризуются свойством «прозрачности»: за ними всегда можно рассмотреть те ценности, которые они отрицают. Чувство *ressentiment*, испытываемое теми группами, которые импортировали идею нации и служили глашатаями национального сознания своих общностей, обычно приводило к тому, что из собственных местных традиций производился отбор элементов, враждебных изначальному национальному принципу.

Эти элементы потом культивировались намеренно. В некоторых случаях, особенно в России, где местные, культурные ресурсы отсутствовали или были явно несущественными, *ressentiment* было наиважнейшим фактором, который обусловил национальную идентичность. Где бы ни существовало это чувство, везде оно способствовало развитию партикуляристской гордости и ксенофобии. *Ressentiment* эмоционально питало зарождающееся национальное чувство. Если национальное чувство ослабевало, оно черпало силы в *ressentiment* [14].

Теперь становится возможным аналитически разделить формирование отдельных национализмов на три фазы: структурную, культурную и психологическую, каждая из этих фаз будет определяться своим доминантным фактором. Принятию новой национальной идентичности предшествует перегруппировка или изменение положения влиятельных общественных групп. В результате структурных изменений традиционное определение или идентичность этих групп перестает соответствовать действительности – возникает кризис идентичности. Структурно он выражается в виде аномии – она порождает в затронутых ею группах стимул к поиску и, если находится возможность, к тому, чтобы принять новую идентичность. Кризис идентичности, как таковой, не объясняет, почему принимаемая идентичность является **национальной**. Он лишь объясняет, почему возникает предрасположенность к принятию какой-либо новой идентичности. Тот факт, что идентичность стала **национальной**, объясняется прежде всего тем, что в то время в наличии имелся определенный тип идей. В первом случае эти идеи изобрели, во всех остальных случаях – импортировали. Кроме того, **национальную** идентичность принимали потому, что она была способна разрешить кризис. Различиями в природе кризисов (все отдельные национализмы обязаны своим рождением именно кризисам) можно объяснить некоторые различия в природе соответствующих национализмов.

Когда все заинтересованные участники приспособливают идею нации к рамкам своей ситуации, то это влечет за собой осмысливание этой идеи в терминах местных родных традиций. Результат подобного осмысливания добавляет еще один элемент к определению каждой национальной идентичности.

И наконец, там, где возникновение национальной идентичности сопровождается *ressentiment*, это чувство ведет к усилению элементов местных традиций – или к построению новой системы ценностей, враждебных принципам изначального национализма. Формы национальной идентичности и национального сознания в этих случаях строятся в результате этой переоценки ценностей. Итоги этой переоценки вместе с модификациями первоначальных принципов, отражающих структурную и культурную специфику каждой ситуации, и являются причиной особенного, отчетливо различимого характера любого из национализмов.

Эти очень краткие выводы нельзя рассматривать иначе чем скелет очень сложной и долгой истории, которую можно увидеть в такой фантастической наготе, только если снять с нее покровы блистательной исторической плоти. Стараясь обнажить этот скелет в своей

книге – путем тщательного изучения деталей и сравнительного анализа различных случаев – я всячески пыталась не свести изложение к рентгеновскому снимку. Я приложила все усилия, насколько это было возможно в рамках одной книги, чтобы дать читателю шанс самому изучить данные, которые привели меня к этим выводам и таким образом согласиться или не согласиться с ними.

Суть проблемы

Эта работа продолжает длинную череду социологических трудов, авторы которых изучали природу и зарождение современного общества. Среди зачинателей такого рода исследований находятся отцы-основатели науки социологии: Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Фердинанд Теннис и такие великие ее предки, как Карл Маркс и Алексис де Токвиль. Без сомнения, на меня повлияли идеи всех этих великих людей, но именно мысли Макса Вебера оказались наиболее созвучны моим собственным. Я приняла его трактовку социальной реальности как реальности по сути символической, видения социального действия как действия, направленного **осмысленно** (*meaningfully oriented*), и разделяю его убеждение в том, что изучение осмысленной ориентации, мотивации социальных субъектов действия и составляет «главный предмет» социологии [15]. В соответствии с такой направленностью моя книга отличается от большинства текущей социологической литературы о современности так же, как и от подобных же исследований национализма, который обычно рассматривается как один из компонентов этой современности.

В центре моего исследования находится множество идей, или скорее некоторые подмножества этого множества, сердцевинкой которого является идея «нация». Я убеждена, что именно эта идея и есть образующий элемент современности (*the constitutive element of modernity*). В свете этого убеждения я перевернула порядок следования и, соответственно, причинно-следственные связи, которые обычно, хотя часто по умолчанию, считаются существующими между национальной идентичностью и нациями, а также между национализмом и современностью: а именно что национальная идентичность есть просто характеристика идентичности наций, а национализм есть продукт или отражение главных компонентов модернизации. Я придерживаюсь той точки зрения, что, наоборот, национализм определяет современность, а не определяется ею. Веберовская идея общества дает основания для подобного взгляда на вещи [16].

Социальная реальность – это, по сути, реальность культурная; она в обязательном порядке является символической и создается с помощью субъективных смыслов и ощущений субъектов социального действия. Каждый общественный строй (*social order*), то есть всеобъемлющая *структура* общества, представляет собой материализацию или объективизацию своего образа, присутствующего в умах у всех лиц, причастных данному общественному строю. Он существует в умах людей в той же степени, сколь и в объективной реальности. И если его воздействие на умы достаточного большинства людей ослабевает или ослабевает его воздействие на умы меньшинства, обладающего достаточной властью, чтобы распространить это воздействие на других, то подобный общественный строй нельзя сохранить, и он должен исчезнуть также и из объективной реальности. Символический по своей сути характер общественной реальности связан с глубинным биологическим строением (*constitution*) человека как вида. Вообще говоря, существование общества является непрямым непосредственным следствием жизни на продвинутых стадиях биологической эволюции. Сохранение вида требует сотрудничества его отдельных представителей (часто им в ущерб). Животным природа в форме инстинктов дает детальные «модели» [17] любой обычной деятельности; их способность к сотрудничеству, их способность к объединению суть вещи врожденные. Для существования человека очень важным является тот факт, что у людей нет врожденных моделей поведения в группах. Социальная интеграция и сотрудничество необходимы для сохранения человеческого вида в целом так же, как и его отдельных представителей, но не существует никакого врожденного знания о том, как этого можно достичь. Из-за отсутствия этого знания люди испытывают потребность в моделях и проекциях, потребность в представлении строя (порядка) или в *изобретении символиче-*

ского образа строя. Такой символический строй – культура – есть человеческий эквивалент инстинктов у животных. Наличие такого строя является необходимым условием выживания человеческого вида в целом, так же, как и его отдельных представителей. Определенный образ общественного (социального) строя обеспечивается определенной культурой. Он представляет собой образующий элемент любого конкретного общества. В пределах, установленных физическими и психологическими параметрами природы человека, символические строи варьируются достаточно широко. Этим и объясняется разнообразие человеческих обществ.

Если признать, что человеческое общество есть социальный аспект жизни определенного биологического вида и что для изучения этого общества необходимо уяснить, в чем же заключается специфичность данного вида с его имеющимися биологическими несовершенствами, например недостатком инстинктов, и возможностями, скажем, способностью к творчеству, то из этого следует, что культурные субъективные символические элементы, создающие смыслы и модели, играют исключительно важную роль в социальной действительности. Из этого же следует, что для интерпретации любого общественного феномена необходимо принимать в расчет понятия и идеи, существующие в умах людей. Другими словами, поскольку так уж получилось, что люди (если говорить о человеческом роде вообще) являются существами разумными и их разум непосредственно связан с их поступками, то необходимо этот разум принимать во внимание и искать в нем объяснение их действиям. Безусловно, на этот разум (разумение) – идеи, воли, мотивации различных субъектов действия – влияют рамки той ситуации, в которой эти люди, то есть субъекты действия, находятся. Через эти специфические (*specific*) моменты этот разум связан со структурными макросоциальными процессами. Но мы можем обнаружить структурные факторы, относящиеся к этим процессам в каждом отдельно взятом случае, только если сначала мы изучим субъектов действия – создателей и переносчиков идей – и выясним, какие же специфические моменты оказали влияние на их интересы и мотивации.

Я не оспариваю утверждения, что структуры являются очень важным компонентом любого социального действия и что их необходимо принимать во внимание как частичное объяснение этого действия: анализ структур занимает центральную часть моего разбора национализма. Подобная точка зрения не подразумевает неуважения к структурам. Я являюсь сторонником методологического индивидуализма и потому отрицания овеществления структур или идей. Поэтому эта точка зрения равно противостоит и догматическому социологическому структурализму, и идеализму, которые одинаковы в своем стремлении овеществлять понятия. Социальная структура есть относительно стабильная система общественных отношений и возможностей, в которой находятся отдельные личности. Эта система жизненно затрагивает людей, но большинство людей над ней невластны и истинную суть ее обычно не понимают. Сущность социологического структурализма состоит в том, что структуры овеществляются и рассматриваются как объективные, то есть онтологически независимые от индивидуальных – субъективных – волеизъявлений, как социальные силы, которые действуют через отдельных личностей и движут ими. Отдельная же личность, в свою очередь, тогда лишь носитель и представитель этих социальных сил. В рамках данной концепции поведение индивидуумов и их убеждения определяются этой объективной реальностью и приобретают характер вторичного явления. Идеализм движущей силой истории считает идеи, а не структуры. Согласно этому направлению, идеи порождают идеи и это символическое порождение является причиной феномена социальных перемен. Как и овеществленные структуры, идеи действуют через отдельных личностей и движут ими. Личность при этом также рассматривается как носитель и представитель определенного набора идей. Ни структурализм, ни идеализм не признают важности человеческого фактора, в котором объединяются и культура, и структура, и где каждая из них ежедневно изменя-

ется и творится вновь. Только человек двигает и формирует их, разрешая им при подходящих условиях, оказывать на него свое влияние. Как идеи, так и социальные структуры обретают действительную реальность только в человеке. «Люди (на этот раз цитирую Дюркгейма) – суть единственно активные элементы общества» [18]. Никакие рамки структуры, никакие идеи не в силах породить другие структурные рамки или другие идеи. Все, что они могут – это создать различные умонастроения в пределах своей сферы влияния. Эти умонастроения осмысливаются и если осмысливаются творчески, то в результате этого осмысления может возникнуть другое толкование реальности. В свою очередь, эти толкования могут повлиять на состояния структур, что, впоследствии, порождает другое умонастроение одновременно с тем, как это умонастроение подвергается влиянию структуры. И этот невероятно сложный процесс продолжается вечно и непредсказуемо. Теории общественной реальности прошлого ли, настоящего – не важно, если они не берут в расчет человека, никогда не поднимутся выше чистой умозрительности. Они (эти теории) принадлежат метафизике.

Культурные и структурные влияния всегда взаимодействуют и, благодаря творческой способности человека, редко взаимодействуют предсказуемо. В большинстве случаев нельзя знать заранее, какой из факторов будет играть роль причины, а какой – результата на определенном этапе формирования общества и социальных перемен. Социальное действие обусловлено, главным образом, мотивациями участников этого действия. Мотивации создаются их убеждениями и ценностями и в то же время рамками структуры, в которой находятся участники действия. Эти рамки, в свою очередь, влияют на убеждения и ценности. Социальное действие, обусловленное мотивацией, создает структуры. Именно из этого следует, что стрелка причинно-следственной связи может показывать оба направления. Более того, одно и то же явление в одной фазе своего развития может быть результатом, а в другой – причиной социального процесса. Только путем тщательного изучения всей доступной информации по данному вопросу можно точно установить его место в причинной цепи.

Национализм, в числе прочего, обозначает некий вид идентичности в психологическом смысле этого термина, то есть в смысле самоопределения. В этом значении любая идентичность – есть набор идей, символический конструкт. Это исключительно мощный конструкт, ибо он определяет положение человеческой личности в ее социальном окружении. Он содержит в себе ожидания данной личности и других людей, составляющих окружение этой личности и, таким образом, ориентирует ее действия. Наиболее общая идентичность, с самым широким охватом, та, которая, по общему мнению, определяет саму сущность человеческой личности и определяет ее поступки во многих сферах социальной жизни, является, естественно, мощнейшей из всех. Образ общественного строя (social order) отражается в ней наиболее полно, она представляет этот образ в микрокосме. Исторически сущность людей определялась различными идентичностями. Во многих обществах эту функцию выполняла религиозная идентичность. В других обществах эту роль на себя взяла кастовая или сословная идентичность. Такой самой общей идентичностью в современном мире стал национализм.

Смена общей идентичности (например, религиозной или сословной на национальную) предполагает изменение образа общественного строя. Эту смену могут спровоцировать независимые структурные изменения – собственно, смена строя – как в результате накопления мелких и не воспринимаемых по отдельности подвижек, так и в результате какого-либо катаклизма. Этим катаклизмом может стать большая эпидемия или война, или, наоборот, внезапно возникнувшие колоссальные экономические возможности и даже появление исключительно волевого и сильного властителя с необычными идеями. (Последний случай – не просто сумасшедшее предположение: Россия именно так вступила на свой путь к национализму). Смена образа общественного строя может также отразить желание, изменить общественный строй, сопротивляющийся трансформации. И никогда не бывает так,

чтобы возникающий образ просто, как в зеркале, отражал бы уже происходящие перемены: всегда есть зазор между образом реальности и самой реальностью. Независимо от того, послужили эти перемены для него источником или нет, инициировали они его или нет, этот образ все равно представляет собой модель, «кальку» нового строя. Мотивируя действия личностей, носящих эту «кальку» в себе, этот образ тем самым, вызывает дальнейшие перемены и постепенно изменяет социальные структуры в соответствии со своими собственными очертаниями. Посылки, в которых предусматривается, что главенствующим фактором причинной обусловленности являются идеи, но при этом не отрицающие той же роли и у структур, соответствуют всей цепи исторических событий, связанных с национализмом. Исторически, возникновение национализма предшествовало развитию любой значительной составляющей современного общества. Взаимодействуя с другими факторами, национализм помогал придавать форму его экономике и отразился на его характере. Более того, что касается политической организации и культуры современного общества, формирующее влияние национализма было главенствующим. Именно национализм политически создал наш мир таким, каков он есть, – и это еще недостаточно сильно сказано. Если же говорить о комплексе явлений, связанных с национализмом, то формированию наций предшествовало наличие национальной идентичности. Присутствие этих социальных структур (наций) в жизни каждого мыслящего индивида и в жизни политических общностей, являющихся отличительной чертой современного общества, все больше расширяется, и эти структуры обязаны своим существованием тому, что индивид в них верит. А характер тех или иных наций зависит от природы идей, лежащих в их основе. Но идеи национализма, обусловившие появление определенных социальных структур и пронизавшие культурные традиции, появились на свет также благодаря давлению ситуации, и источниками их служили предшествовавшие им культурные традиции. До того как национализм стал причиной одних социальных процессов, он сам был результатом других социальных процессов.

Структура книги

Книга поделена на пять глав, в которых рассматривается развитие национальной идентичности и национального сознания в каждом из выбранных обществ. Главы построены в хронологическом порядке по временным периодам, важным для развития соответствующих национальных идентичностей: для Англии – это XVI в., для Франции – промежуток между 1715 и 1789 гг., для России – вторая половина XVIII в., для Германии – конец XVIII и начало XIX вв. и конец XVIII – середина XIX вв. для США. Обсуждение затрагивает не только исключительно эти периоды: в некоторых случаях, чтобы оценить влияние предыдущих идентичностей, требуется принять во внимание более раннюю историю, а в случае Франции и Германии – совсем древнюю, чтобы понять суть идентичности, которая формировалась в те давние годы, а также историю идентичности более позднего времени.

Время возникновения национализма вообще и каждого из его типов в отдельности можно отследить в истории с высокой степенью точности. Новые понятия отражаются в лексических изменениях, которые можно оценить по словарям, официальным документам и литературе соответствующей эпохи. Несколько разделов книги включают в себя подобный анализ и исследуют метатезу и развитие относящегося к этому вопросу политического и культурного дискурса (языка) с самого начала этого дискурса и до тех пор, пока национальное сознание и соответствующая нация не становятся, по мнению участников событий, бесспорными фактами.

Данные, позволяющие точно указать время, когда возникли эти особые национализмы, также дают нам возможность идентифицировать субъектов действия или активных участников этих перемен. Среди них, прежде всего, люди, которые пришли с новыми идеями, озвучили их и популяризовали. И этим можно объяснить, почему центральную роль в возникновении национальных идентичностей сыграли интеллектуалы – глашатаи и сеятели идей – независимо от того, были ли они профессиональными интеллектуалами и вне зависимости от их социального происхождения. Соответственно, ролью, которую *профессиональные* интеллектуалы из среднего класса сыграли в формировании национальной идентичности, можно объяснить имеющийся у них с тех пор и доньше высокий статус.

Влияние и, вероятно, статус групп, игравших важную роль в возникновении национализма, с самого начала было очень большим: невлиятельные группы не смогли бы распространить новую идентичность на остальную часть общества. В некоторых случаях – а именно в Англии, где национальность с самого начала имела большое значение для широких слоев населения, – влияние определенных групп на стадии формирования национализма было большим, благодаря их многочисленности. Обыкновенно же это была общественная, политическая, культурная элита (главной группой в Англии, Франции и России была аристократия, а в Германии – интеллектуалы из среднего класса). Их влиятельность проистекала из различных сочетаний статуса, власти и богатства и/или из их контроля над средствами коммуникации. В этой книге, однако, внимание главным образом уделяется формированию национальной идентичности, а не ее распространению. Если же проводится анализ распространения национальной идентичности, то автора, скорее, занимает вопрос переноса идеи нации из одного общества в другое, чем ее проникновение из центра общества на периферию. Распространение национализма в последнем случае – тема важная и интересная сама по себе. Без сомнения, распространение национальной идентичности усилило ее эффективность в качестве средства социальной мобилизации, но для характера отдельных национализмов оно не играло особой роли. Характер каждой национальной идентичности определялся на ранней стадии ее развития. Эти ранние стадии здесь подробно рассматриваются. Влияние каждой национальной идентичности на политическое, социальное и культурное

строение соответствующих наций, так же, как и на их историю, может быть отнесено на счет ее изначального определения. Именно это определение, а не национализм как таковой, направляет массы. Даже с точки зрения своей эффективности, национализм был могучей силой уже до того, как стал массовым явлением, просто потому, что он мотивировал элиты, обладавшие властью и контролировавшие общественные ресурсы.

Страны были выбраны по нескольким причинам. Одной из них было, несомненно, центральное положение этих государств в современной истории. Эти страны представляют собой модели, которым следует остальной мир, таким образом контролируя его развитие. Перемены в этих странах, являющиеся предметом данной книги, имеют влияние, выходящее далеко за их границы. Судьбы современного мира воплотились в этих пяти обществах.

Национальная эволюция этих обществ представляет собой, пожалуй, один последовательный, хотя и исключительно сложный процесс, а не пять отдельных. В течение нескольких веков эти страны делили одно и то же социальное пространство, каждая из них имела значение для всех остальных, каждая влияла на самовосприятие остальных, их цели и политику. Ни Россия, ни, понятно, Америка не присутствовали в сознании Англии XVI в., но влияние перемен, которые произошли тогда в Англии, и на Россию, и на Америку, не подлежит сомнению. Пять национализмов связаны между собой, и, за исключением Англии, ни один из них нельзя полностью понять в отрыве от других. Эта взаимосвязь придает книге предметное единство, которое дополняет ее единство теоретическое.

Наконец, каждый из этих пяти случаев имеет самостоятельное аналитическое значение, поскольку он выражает тот или иной специфический аспект общей аргументации и поэтому представляет собой необходимый элемент теоретической структуры книги. Важность английского варианта очевидна. Рождение английской нации было рождением не одной конкретной нации, а наций вообще, рождением национализма. Англия была тем местом, где процесс зародился и начался. Анализ этого случая необходим для того, чтобы понять изначальную национальную идею, условия ее развития и социальное применение. Пример Франции дает возможность наблюдать последовательную эволюцию нескольких особенных (*unique*) идентичностей внутри одной и той же политической целостности (*entity*), выдвигая на первый план специфическую природу идентичности национальной. Этот пример также демонстрирует возможные влияния на национализм донациональных идентичностей. Россия есть образцовый пример того, как на формирование национальной идентичности влияет *ressentiment* и потому – иностранные модели. В развитии национализма в Германии особое внимание уделяется тому, насколько важны были местные традиции для формирования почвы национального сознания. Все эти четыре примера демонстрируют нам хронологическое и причинное первенство структурных условий – состояния аномии – в запуске процесса смены идентичности. Случай Америки раскрывает абсолютную независимость национальности от геополитических или этнических факторов и подчеркивает ее концептуальную, или идеологическую природу. Поскольку национальная идентичность есть изначальная идентичность населения Америки, которая предшествовала ее геополитическому и институциональному «оформлению», в анализе американского национализма главное место уделяется не условиям возникновения этого национализма – здесь все понятно, а скорее его воздействию. Это воздействие можно наблюдать в этом случае почти в чистом виде.

В каждой главе анализ проводится на нескольких уровнях: анализируются политическая лексика (словарь), социальные отношения и другие структурные влияния (*structural constraints*), которые затрагивают ключевые группы, участвующие в формировании национальной идентичности. (Историческая значимость группы всегда определяется как функция степени активного участия членов этой группы в выражении и распространении национального сознания и национального чувства). Кроме анализа умонстроения образованной части

общества цель состоит в том, чтобы объяснить эволюцию определенного набора идей и показать, как эти идеи пронизывали отношения действующих лиц. Поэтому некоторые периоды истории конкретного общества или конкретных групп могут рассматриваться несколько раз и под разными углами зрения, а другие, не имеющие отношения к проблеме периоды или группы, сколь бы важны они ни были сами по себе, из анализа исключены. Я заостряла свое внимание на тех слоях или частях населения, чьи традиции оставили особо глубокий отпечаток на национальной идентичности этого населения. Вот почему здесь уделяется такое большое место анализу развития протестантской Германии в противовес Германии католической (и особенно Пруссии), развитие Австрии или Новой Англии в противовес остальным районам США.

В мои цели не входило написать истории пяти национализмов, я хотела понять суть главных сил, сформировавших наши идентичности и судьбы. Поэтому я сконцентрировала свое внимание на общих чертах развития всех пяти национализмов и на тех важных отличиях в каждом из них, которые могли бы пролить свет на природу явления в целом или помогли бы определить путь современной истории. Они и лежат в основе главных черт современной жизни. Я подчеркиваю не только те моменты, которые касаются интерпретации верховной власти народа (*sovereignty of the people*) и отношений между отдельной личностью и обществом, повлиявших на судьбу демократии и определивших ее политические и социальные альтернативы. В главе об Англии есть дополнительный раздел, где рассматривается симбиотическое отношение между молодым английским национализмом и наукой, благодаря которому наука была вознесена и взлелеяна и стала той мощной силой, каковой является и поныне. Большой раздел посвящен столь же интимной связи между германским национализмом и романтизмом – основе важнейших политических идеологий – марксизма и национал-социализма. С другой стороны, романтизм в течение двух столетий одушевлял наши понятия об искусстве и творческих способностях человека, заставлял нас жаждать открытости и свободы для развития нашего творческого потенциала. Формируя наш взгляд на самих себя, романтизм в очень большой степени формировал, собственно, и наши личности.

Очевидно, наука (хотя впервые она как институт возникла в Англии) также развивалась и в других странах, а романтизм, хотя в основе своей он германского происхождения, имел своих представителей и вне Германии. То же самое можно сказать и об универсальном и индивидуалистическом либерализме, который я считаю главной чертой английского и американского национализма, или об антисемитизме, обзором которого завершается анализ немецкого национализма. Я рассматриваю такие интернациональные традиции, как особенные черты конкретных национализмов, во-первых, если в результате импорта, данная традиция была не слишком изменена (например, наука), или если модифицированная традиция (например, английский романтизм), в отличие от своего оригинала, не слишком глубоко повлияла на характер современного общества в целом. Во-вторых, если традиция, сформировавшая конкретный национализм и отразившаяся в нем, хотя и присутствовала в остальных национализмах, но не имела там такого формирующего влияния. Одна и та же традиция, образно говоря, могла быть доминантным геном в одном случае и рецессивным в другом. Я осознаю «множественность путей развития» в каждом из изучаемых мною национализмов. В любом национализме существовали поверженные традиции и «дороги, которые он не стал выбирать»¹. Я не уделяю им пристального внимания именно потому, что их не выбрали.

И есть еще один, последний вопрос, который, исходя из вышеизложенного, следует поднять во Введении. *Полностью ли* от происхождения национализма – а этим происхождением определяется его природа, то есть установление определенных традиций в качестве

¹ Фрост Р. – Прим. пер.

доминантных и подавление других, – зависит и его социальное и политическое выражение? Предопределено ли поведение нации – ее поведение в истории – этими доминантными традициями? Я отвечаю – *нет*. Доминантные традиции создают предрасположенность к определенному типу поведения и вероятность того, что при определенных условиях такое поведение будет иметь место. Без этих условий это будет невозможно; наличие определенного вида идей является необходимым условием для некоторых видов социальных действий. Если знать природу конкретного национализма, то можно будет ожидать от данной нации определенного типа поведения, потому что некоторые типы поведения более вероятны, а некоторые типы – менее. Но общество – открытая система, и будут или нет полностью реализованы существующие возможности – зависит от многих факторов, которые абсолютно не связаны с природой этих возможностей.

Объем и замысел книги не дают возможности исчерпывающего изложения и многие захватывающие детали пришлось опустить. Тем не менее я постаралась не слишком упрощать и не делать обобщений ради обобщений. Целью моей было – не конструировать возможную модель реальности, а объяснить реальность, фактически возникшую. Мне хотелось, чтобы мой анализ отразил сложность этой реальности, даже когда я эту реальность препарировала, и сохранить хотя бы частичку того особого аромата различных эпох и обществ, о которых я написала. Я попыталась «залезть в шкуру» героев своего повествования, чтобы понять, как им жилось и думалось, ибо без этого я бы не смогла понять, как и почему их жизненный опыт трансформировался в те силы, которые повлияли на нашу жизнь. Поэтому было необходимо погрузиться в исторические детали.

Основанием для моей интерпретации послужили свидетельства очевидцев, оставленные ими в законах и официальных заявлениях, так же как и в литературных и научных трудах, в дневниках и частной переписке. Я старалась в основном полагаться на первоисточники, используя вторичный исторический анализ для того, чтобы ориентироваться там, где мои собственные знания о них были недостаточными. Эта вторичная литература открыла для меня документы, о которых я не знала, а благодаря им и те библиотечные полки, книги с которых с тех пор стали для меня нитью Ариадны. Время от времени я использовала вторичную литературу как источник информации, цитируя малоизвестных писателей или архивные и труднодоступные материалы. Где только возможно, я признаю свой долг перед другими учеными.

Меня приводила в смущение сложность исторического материала, а периодически обескураживал недостаток данных. Временами я отчаивалась в своей способности не погрешить против этих данных и тем не менее их осмыслить. Я сомневалась в возможности существования исторической социологии (и как исторической, и как социологии). Когда, обложившись кипами словарей, я прилагала все усилия к тому, чтобы представить и истолковать данные на английском языке, я всегда остро осознавала, что такой великолепный инструмент, как этот язык, требует гораздо лучшего мастера. Меня часто угнетало мое недостаточное знакомство с ресурсами этого инструмента, но я радовалась их очевидному обилию.

И все же решимость моя была неизменной – ее укрепляло мое твердое убеждение в том, что национализм занимает центральное место в нашем существовании и что понять его сегодня – жизненно необходимо. Мою решимость поддерживали неотразимо увлекательная природа социальных процессов и пример людей, которых я изучала, людей, создавших целый новый мир, а не просто написавших о нем книгу. У одного из них, никогда не унывающего американца Сэма Пэтча (Sam Patch), своего рода уменьшенного Дэви Крокетта, я позаимствовала девиз: «С одним и тем же успехом можно делать разные вещи»² [19].

² В русском переводе американских сказок «Верхом на урагане» этот девиз переведен как «в мире нет ничего невозможного». – *Прим. пер.*

Надеюсь, мои читатели отнесутся ко мне со снисхождением.

Глава 1. Божий первенец. Англия

Множество людей, которые удерживаются вместе с помощью силы, пусть и под одной и той же властью, нельзя назвать множеством людей, объединенных правильно, такое сообщество (body) также не является НАРОДОМ. Именно общественный союз, конфедерация и общее согласие, основанное на некоем общем благе или интересе, объединяющем участников такового союза в общность (community), и делают людей единым НАРОДОМ. Абсолютная Власть уничтожает the publick (общественность), а там, где этой общественности нет, там, в действительности, нет ни Родины, ни Нации.

Энтони Эшли Купер, Эрл Шафтсбери

Божий первенец. Англия

16 мая 1532 г. английское духовенство официально признало Генриха VIII верховным главой церкви, а сэр Томас Мор подал в отставку с поста лорда-канцлера. 6 июля 1535 г., после того, как его обвинили в измене, великий ученый и автор «Утопии» был обезглавлен. До самого конца он настаивал на единстве христианского мира. За свою судьбу в ответе он сам. Сэр Томас Мор был христианином: он предпочел скорее умереть, чем признать верховную власть короля в делах англиканской церкви и отринуть власть Папы. Причины подобного поведения были описаны им в письме от 5 марта 1534 года к Томасу Кромвелю – главному организатору отделения Англии от Рима. Томас Мор писал: «Я никогда не слышал и не читал ничего такого, что бы могло подвигнуть меня на то... чтобы отречься от главенства Папы, данного нам Богом, ибо, ежели бы мы это сделали... то даже я и представить себе не могу, что бы из этого воспоследовало, ибо главенство сие установлено телом Христовым и для великой и неотложной борьбы с ересями, и подкрепляется главенство сие своим успешным, более чем тысячелетним существованием. И поскольку весь наш мир христианский единое тело есть, не можно мне вообразить, как какой-либо орган его может без общего согласия тела всего отделиться от общей главы».

В апреле того же года от Мора потребовали дать присягу the Act of Succession, а поскольку он отказался подтвердить отрицание верховной папской власти, подразумеваемое в этой присяге, то его заключили в Тауэр. Его искренне пытались убедить отказаться от своего мнения и спасти от королевского гнева и связанных с ним последствий, но попытки эти провалились. Уже будучи в Тауэре, он писал об этих попытках: «И тако рек мне my Lord of Westminster, что каким бы не казалось дело моему собственному разуму, мне надобно опасаться, что собственный разум мой заблуждается, ибо зрю пред собою великий совет королевства, убеждающий мой разум в сем, и потому мне должно переменить свою совесть. Я ответственал, что, ежели б на моей стороне находился только я сам, а на другой – весь Парламент, я бы сугубо утратился противопоставлять единственно разум свой столь многим умам. Но, с другой стороны, в сих вещах, из-за коих отказался я давать присягу, я имею (мнится мне) на своей стороне столь же великий совет и даже более великий. И посему не обязан я переменять свою совесть и заверять в сем совет одного королевства, супротив общего совета всего христианского мира» [1].

Сэр Томас Мор был христианином, такова была его идентичность, и все его роли, функции и обязательства, которые из нее не проистекали, но подразумевались (как, например, то, что он был подданным английского короля), были для этой идентичности несущественны. Убеждение в том, что «одно королевство» может быть источником истины и требовать абсолютной верховной власти, казалось ему абсурдным. «Королевства» были всего лишь искусственными второстепенными подразделениями в абсолютно неразделимом теле христианства. Важно отметить, что причиной такого его поведения, как он сам это представлял, было вовсе не спасение души. Его отказ признать главенство короля был основан на чем-то отличном от преданности догме. Скорее, Мор отказывался потому, что не мог отрицать вещи, кажущиеся ему совершенно очевидными. Сэр Томас видел мир сквозь призму донациональной Эры. Для него позиция судей была непостижима. Он не смог осознать, что они уже изменились и для них – быть англичанами уже не было несущественным видом преданности, как это было для него самого, а стало самой сердцевиной их существования.

Более чем 400 годами позже его судебный процесс приобрел глубоко символическое значение. Тогда друг другу противостояли два фундаментальных мировоззрения – донациональное и национальное. И поскольку эти мировоззрения определяли саму идентичность человека, никакой промежуточной позиции между ними быть не могло; там была когнитив-

ная пропасть, явственный разрыв в континууме. Объединенный мир, который видел своим внутренним зрением сэра Томас Мор, был миром исчезающим, и автор «Утопии» был одинок на фоне растущего числа неофитов новой национальной веры.

Резкий сдвиг в этом отношении, который выражался в том, что слово «нация» стало применяться, когда речь шла о народе, и который в разных смыслах означал начало современной эпохи, начался уже в 30-е гг. XVI в. [2]. В течение XVI в. этот сдвиг захватил значительную часть населения Англии, и к 1600 г. существование в Англии национального самосознания и идентичности и, как результат, нового геополитического единства нации, стало фактом. Нация воспринималась как сообщество свободных и равных личностей. По своему глубинному смыслу это было гуманистическое понятие и базировалось оно на нескольких предпосылках. Главной среди них была вера в то, что человек есть активное, изначально разумное существо. Разум был определяющей характеристикой человечества. Обладание им, то есть умение рассматривать и делать выбор между альтернативами, давало человеку право решать, что для него является лучшим и было основанием для признания независимости личной совести и принципа гражданской свободы. Более того, поскольку люди в этом очень важном отношении были равны, то в принципе они имели равное право на участие в коллективных решениях. Таким образом, подразумевалось, что в природе человеческой природы заложено политическое участие, активное членство в политическом сообществе, к которому данный человек принадлежит – то есть то, что мы сейчас понимаем как гражданство. Поэтому патриотизм – гражданская добродетель Возрождения и ревностное служение своему политическому сообществу – стал рассматриваться не только как добродетель, но и как право.

В понятии «нация» подразумевалось чувство уважения к личности и особо уважение к личному достоинству человека. Человек имел право на национальность (членство в нации) по праву своей принадлежности к человечеству. По существу, нация была сообществом людей, осознающих свою национальность, связь такого сообщества с определенными геополитическими границами – дело второстепенное. Любовь к нации – национальный патриотизм или национализм – в этом контексте означает, прежде всего, принципиальный индивидуализм, обязательство отстаивать свои собственные права личности и права личности других людей. Благодаря этому, в то время как везде возвеличение нации стало возвеличением самого себя, в случае Англии оно стало возвеличением самого себя как человека – свободного разумного индивидуума – и поэтому возвеличением человеческого достоинства, человечества в целом.

Связь между понятием «нация» и реальностью не была совершенной, совершенство вообще встречается редко. Не весь народ Англии был фактически включен в нацию в это первое столетие ее существования – и многие длительное время оставались вне ее. Дар разума, теоретически обязательно сопутствующий человечеству, на практике считался распределенным неравномерно и поэтому не все заслуживали одинакового наслаждения правами, которые следовали из этого подарка. Несмотря на это, поклонение идее нации наиболее активной и имеющей возможность высказаться части населения Англии знаменовало глубокие изменения в политической культуре. Это не могло не повлиять на реальность, и в конце концов между идеей и реальностью возникла более тесная связь.

Отражение национального сознания в дискурсе и чувстве. Изменения в лексике

Эволюция национального сознания отразилась в меняющейся лексике. В период с 1500 по 1600 гг. некоторые очень важные понятия изменили свои значения и вошли во всеобщее пользование. К этим концептам относились – «страна» (country), «общее благо» (commonwealth), «империя» (empire) и «нация» (nation). Изменения в значении пришлись в основном на XVI столетие. Эти четыре слова стали осознаваться как синонимы, приобретая тот смысл, который они (с небольшими изменениями) сохранили и в дальнейшем, но который отличался от их прежних отдельных значений. Они все стали осмысливаться как the sovereign people of England (суверенный народ Англии). Безусловно, значение слова «народ» тоже соответственно изменилось.

Ни одного из этих очень важных слов нет в *Promptorium Parvulorum* издания 1499 г. (впервые изданном в 1440 г.) [3]. Однако там есть статья *common people* (простонародье, чернь), словосочетание, которое переводится как *vulgus gineu*, и *Empereoure*, которое переводится как император. В словарях XVI в. ситуация уже другая. Слово *country*, первоначальное значение которого, согласно Perez Zagorin [4], было *county* (графство), то есть административная единица, где человек проживал, и которое изменило свое значение в период *Interregnum* (междоцарствия), стало, очевидно, синонимичным слову «нация» и приобрело дополнительное значение *patria* уже в первой трети XVI в. Новое значение сосуществовало с более старым, но оно было доминирующим и, явно, более важным. Уже в *Latin-English Dictionary* 1538 г. [5] Томаса Элиота (Thomas Elyot) *patria* переводится как *a countraye*. Точно такой же перевод дан этому слову в *Thesaurus Linguae Romanae et Britannicae* Томаса Купера (Thomas Cooper) издания 1578 г. (впервые изданном в 1565 г.) [6]. *Nationes refinae* здесь переводится как *the countreys where resin (reason) groweth* (страны, где разум вырастает). Толковый словарь 1589 г. Джона Райдера (John Rider) *Bibliotheca Scholastica* [7] дает следующие значения для слова «страна» (country) и сопутствующих ему слов: *a Countie or Shiere – comitatis; to do after the countrey fashion – вести себя на деревенский манер; a countrey – regio, natio, orbis; our countrey, or native soyle – patria; a lover of his owne countrie – Philopolites; countrie man, or one of the same country – патриот, компатриот.*

Литературные источники тоже подтверждали изменения в чувстве и значении, присущим этому слову. «Кто ж здесь настолько полон зла, чтоб не любить свою страну?» – так спрашивает Брут в «Юлии Цезаре» Шекспира, а Марло вкладывает тот же самый риторический вопрос в уста Правителя в трагедии «Тамерлан Великий»: «Виллан, неуж тебе милее рабство, чем честь твоей страны?» [8]. «Страна» в этот период была одним из наиболее часто произносимых слов, и из контекста многочисленных сочинений того времени ясно видно, что, говоря «моя страна», англичанин XVI в. не имел в виду свое графство (*county*). Он говорил о великом единстве, которому отдал свою величайшую преданность, о *patria*, о нации.

В то время как «страна» определялась как «нация», «нацию» определяли как «страну». В словаре Джона Райдера статья «Нация» начинается таким образом: *A Nation, or countrie*, а первое значение слова «народ», переводимое как *populo*, тоже – «нация». Следовательно, эти понятия имеют одно значение и приравнены друг к другу. Там также есть статья «Простонародье» (*the common people*), которое переводится как *plebs*. В некотором отношении более двусмысленным, является перевод слова *natio* в куперовском *Thesaurus*. *Natio* переводится как «нация», которая потом определяется как «люди, имеющие своим происхождением страну, где они проживают». «*Natio me hominis impulit, ut ei recte putarem*», однако недвусмысленно переводится как «моя страна заставляет меня действовать или меня принуждает». В словаре Элиота, хотя большинство статей и снабжены толкованием, к «*natio*»

дается только одно слово – «нация». Очевидно этот перевод сомнений не вызывает и не требует никаких пояснений. *Populus* переводится как народ, а *commune peopple* является переводом слова *plebs*.

Уравнение страны с нацией, которая, в свою очередь, определялась как народ, – вещь очень существенная: среди прочего, это ведет к переистолкованию символического значения дореволюционного конфликта между двором и страной, о котором мы еще будем говорить позднее и больше. Если страна означает нацию, то это был не конфликт между городской и сельской субкультурой, как это утверждалось [9], а явно осмысленная борьба за верховную власть между монархом и народом.

Такая борьба за верховную власть внутри организованной общности (*polity*) бывает возможной только в том случае, когда считается, что сама эта общность наделена верховной властью. Уже достаточно много англичан полагали, что Англия является именно таковой общностью. Это относилось как к новому восприятию действительности, так и к изменению понятия «империя» [10], которое ему соответствовало. В средневековой политической философии понятие «империя» (*imperiū*) было признаком, свойством королевского сана, это была сущность бытия императора. Император обладал верховной властью в своем королевстве в делах мирских. Таким образом, термин «империя» означал эту верховную власть в мирских делах. В *Act of Appeals* (1533) было декларировано, что значение этого слова резко и намеренно изменяется. В этом законе говорится, что значение слова «империя» расширяется, и оно теперь будет также включать в себя верховную власть и в делах духовных, «империя» теперь будет определяться как «политическая единица, самоуправляемое государство, свободное от власти каких-либо иных повелителей. . . как суверенное национальное государство». По общепринятому мнению, в цели и намерения тех, кто принял этот закон, входило наделить короля верховной духовной юрисдикцией совершенно беспрецедентным образом – подобная вещь могла быть по закону осуществлена лишь на основании того, что само понятие «империя» подразумевало такую духовную власть – однако некоторые историки полагали, что факт расширения толкования слова «империя» в самом законе является «в лучшем случае двусмысленным» [11].

Казалось бы, буква закона подтверждает мнение большинства. Закон был издан в качестве реакции на жалобу Риму Екатерины Арагонской. Принят он был для того, чтобы в дальнейшем признавать обращения подобного рода незаконными, тем самым он отбирал у Папы верховную власть над английскими подданными и отдавал ее властителям внутри королевства. Обоснование этой революционной меры изложено в преамбуле закона, которая гласит, что в древних аутентичных хрониках и летописях открыто провозглашалось и декларировалось: «Королевство англиское империя есть, о чем весь мир христианский осведомлен был, и управлялось же оное королевство нашим главою верховным – королем» [12]. Мы не можем полагаться только на текст, поскольку понятно, что его можно интерпретировать по-разному. Но поменяло радикально в этот самый момент слово «империя» свое значение или нет, ясно одно – в течение XVI в. это слово стали все больше осмыслять как «суверенную, поначалу не обязательно национальную, организованную общность», государство (*polity*).

Тот факт, что в *Promptorium Parvulorum* (1499) появляется слово *Empereur*, а слово *emprige* там нет, можно, вероятно, объяснить следующим образом: в то время понятие «империя» понималось просто как нечто, принадлежащее императору, как его атрибут, как абстрактное качество его существования, то есть слово содержало свой средневековый смысл. В словаре Элиота *Imperiū* не переводится, но ему дается дефиниция – «единоличная власть, высшая власть, королевская власть». Из этого можно заключить, что в 1539 г. слово «империя» не было таким уж важным понятием. Однако (и вот это действительно важно) определение Элиота не ограничивает понятие «империя» делами мирскими. Более поздние словари дают некоторое представление о растущей частоте употребления этого слова. В

тезаурусе Купера, хотя Купер и заимствует элиотовскую дефиницию «империи», добавляется перевод – «власть; доминион, империя (empire)». Джон Райдер тоже включает в свой словарь *empire*, каковое слово он тоже переводит без проблем как *Imperium; Dominium*.

К 1582 г. все еще считалось желательным подчеркивать и артикулировать новое значение понятия – под предлогом его аутентичности – в обращениях к населению, публиковавшимся во благо этого населения. В этих обращениях содержались разъяснения, обвинявшие Папу в том, что он «строит козни против природных повелителей – императоров, так же, как и против других властителей христианских». Неизвестному автору казалось «более чем удивительным, что какие-либо подданные... могут поддерживать чужих иностранных узурпаторов в борьбе против собственных суверенных повелителей и родной страны». То, что они тем не менее это делали, автор объяснял их невежеством и незнанием слова Божьего, и Папы, по его мнению, были в этом невежестве виноваты, «держа население в тенетах неведомого иностранного языка». Таким образом, Папы «выхватывали власть» из рук суверенов – «их древнее право на империю» и скрывали, в чем состоит это право от населения. «Если бы подданные императора узнали бы о своем долге перед своим повелителем из Божьего слова, они бы не позволили Папе Римскому убедить их предать своего государя-императора, нарушив клятву верности» [13]. Короче говоря, истинное и первоначальное значение слова «империя» подразумевало как мирскую, так и духовную власть; это истинное значение намеренно утаивалось от населения римскими церковниками. Скрывая от народа Божье Слово, они, благодаря этому, смогли узурпировать власть в делах духовных и извратили само понятие «государство» (*polity*), которое и было империей и которое, на самом деле, было, соответственно, суверенным государством. В духовных и мирских делах оно было самодержавно и являлось автономным единством в том смысле, в каковом ни одно государство, находящееся под духовной юрисдикцией главы христианского мира, быть не могло.

Усвоение нового смысла слова «империя» как независимой организованной общности, государства (а это значение, с несущественными изменениями, мы и унаследовали) имело колоссальное значение для развития первой нации. Понятие теперь подразумевало, что мир делится согласно политике, а не конфессии. Сепаратистская тенденция, которую выражало это понятие, была в данном случае поддержана религиозными течениями того века. Хотя слово «империя» означало нечто большее, чем принадлежность к истинной вере и борьбу с ересью, оно подразумевало, что внутри истинной веры существуют абсолютно независимые государства (*polities*), а жизнь людей, их населяющих, связана с судьбой этих государств гораздо теснее и существеннее, чем с судьбой их собратьев по религии.

Понятие «империя» никогда не становилось синонимом «нации». Эти два понятия скорее относились к разным сторонам одного и того же феномена. Слово «империя» также никогда не употреблялось так часто, как остальные слова, связанные с этим явлением. В общем, это слово в душу не запало, вероятно, это происходило потому, что в слове «империя» присутствовал дополнительный оттенок значения королевской абсолютной власти, в то время когда идея подобной власти сама по себе теряла привлекательность.

«Общее благо» (*commonwealth*) было еще одним словосочетанием, которое в этот период получило широкое распространение. Это был буквальный перевод словосочетания *res publica*, но латинский термин можно было толковать по-разному. В тогдашней Англии этот термин стал синонимом слова «общество», «общественность» (*society*). Это значение ему приписывается и в словаре Элиота, и в словаре Т. Купера. Элиот переводит *res publica* как *a publike weale*, а Купер переводит это же слово как *common weale* (общее благо, богатство, достояние); как *common state* (общее состояние). В 1531 г. в *Voke named the Governour* Элиот интерпретирует *a publike weale* как «хорошо управляемое общество». «*Respublica*, – пишет он, – это живое сообщество, однородное или состоящее из разных земель и людей, которое имеет свой строй и управляется законом и разумом» [14]. Во многих других важных источ-

никах, таких как *The Commonwealth of England* сэра Томаса Смита (Sir Thomas Smith) термин оставался нейтральным. В смысле «общество», общество, к которому человек принадлежал, слово *commonwealth* употреблялось взаимозаменяемо со словами «страна» (*country*) и «нация» (*nation*). Однако это не было его первоначальным значением в дискурсе XVI в. Первоначальным значением было «общее благо» или «общее благосостояние». В *Promptorium Parvulorum* интерпретация слова *respublica* еще более буквальна – «общие вещи, общее благо». Позднее во многих текстах термин употребляется в нескольких смыслах, и его можно интерпретировать и как «общество» (*a society*) и как «общее благо» (см. например, в книге *The Tree of Commonwealth* (1509), написанной одним из первых воспевателей и слуг новой монархии Эдмундом Дадли, где он говорит «об общем благе Королевства сего»).

Важно отметить, что слово *state* в этом контексте появляется в словосочетании *common state*, которое Т. Купер предлагает в качестве перевода к «*respublica*» – во всех ранних словарях не имеет никаких политических дополнительных смыслов, которые оно приобретет позже [15]. Слово это обозначает либо «статус» – Купер объясняет его как «условие или состояние чьей-либо жизни или какой-либо другой вещи» – либо оно обозначает *estate* (то есть собственность). Этот термин не изменил своего значения до конца столетия, когда он стал другим близким синонимом «нации», но он не вызывал столь сильных чувств и не использовался так же часто, как остальные термины.

Язык парламентских документов

Новые понятия проникали в язык постепенно и неосознанно, в их введении в язык не было ничего революционного, и в конце концов стало казаться, что они в нем существовали всегда, что реальность, которую они отражали, всегда была частью английского государственного устройства, что английская конституция, другими словами, всегда была национальной. Парламент скорее следовал, чем способствовал движению национального чувства, которое существовало вне парламента, и медленно и осторожно усваивал развивающийся язык национальной идентичности. Но, поступая таким образом, он давал этому языку официальное признание и ореол законности. Это были еще всего лишь своего рода изменения в лексике, но лексика-то была парламентская, в результате, когда она была полностью трансформирована, это означало, что изменилась сама реальность.

В законах Генриха VII Англия называлась королевством и менее часто землей (the land) в манере, лишенной тех эмоциональных обертонов, которые этот термин (земля) приобретет позднее. В The Statute of Treason (Закон об измене, 1495 г.) подданным этого (King's) государства напоминает о том, что они должны, когда это потребует, участвовать в защите (своего короля) и «земли», каковой король является верховным властелином (Sovereign Lord). Правление короля тем не менее подлежит проверке – как в Законе о престолонаследии – на основании того, служит ли оно «благу Всемогущего Господа нашего, богатству, процветанию и спокойствию королевства аглицкого и довольству подданных сего королевства» [16]. Здесь используются понятия «общее благо» и «общее благосостояние», но также не употребляется термин common wealth. Наличествуют также постоянные отсылки и апелляции к «законам земель». Однако концепция государства (polity), которая проходит через документы этого царствования, остается концепцией королевского государства или королевства, то есть «королевской собственности». Остальное население имеет к этой собственности отношение только в качестве жителей данной земли и королевских подданных, и доля населения в ней имеет характер утилитарный, если не случайный.

Документы следующего царствования тоже называют Англию «сим королевством», «сим благородным королевством» (см. Tunnage and Poundage Act, 1510 г., The Act of Appeals, 1533 г., The Dispensation Act, 1534 г., и другие). Но восприятие отношения подданных к земле меняется. Закон 1534 г. «Об отчуждении первого урожая и десятины в пользу короны» начинается со следующего утверждения: «Долгом и священным долгом, естественным побуждением всех добрых людей, как вернейших, преданных и послушных подданных, является искренне и со всем желанием обеспечивать не только общественное благо своей родной страны, но также и поддержку, и защиту королевской собственности их величайшего, милостивейшего и достославнейшего Государя, от которого и исходят вся этих подданных радость и благосостояние». Долг подданных по отношению к суверену покоится на утилитарной основе, ибо, предположительно, его благо означает их благо. Но в то время как этот долг требует подтверждения, предполагается, что «желание обеспечивать общественное благо своей страны» является естественным побуждением, к которому на самом деле приравнивается и долг по отношению к королевской собственности, и это желание подтверждения не требует. Здесь уже отношение населения к земле и к государству (polity) рассматривается как внутренняя привязанность, и интерес к сохранению земли и государства проистекает из «естественной» к ним любви этого населения. Нельзя еще сказать, что понятие polity (государства как организованной общности) в качестве, главным образом, королевской собственности, где остальные имеют лишь крайне ограниченную часть, исчезло совершенно. По-видимому, две точки зрения сосуществовали. Третий закон о престолонаследии, относившийся к воинственным намерениям Генриха VII касательно Фран-

ции, представляет конфликт в чисто династическом и даже личном свете как дело, не имеющее к населению прямого отношения. «Наш достославнейший повелитель и король ... Божьей милостью намеревается предпринять поход... в королевство Францию супротив *своего* старинного врага короля французского» (*курсив автора*). Наличествует также двусмысленность в отношении понятия «общее благо». Так же, как и в предыдущее царствование, власть и действия короля неизменно поверяются их содействием общему благу, и термин *commonwealth* время от времени употребляется в этом смысле («общее благо»). Однако значение этого термина становится амбивалентным, и непонятно, означает ли он «общее благо» или «общество» (*a society*). В *Statute of Proclamations* (1539), например, он появляется дважды в следующем отрывке: «Для достижения единства и согласия, которое должно иметься у преданных и послушных подданных сего королевства и прочих его доминионов, а также исполняясь заботы об *общем благе* (*курсив переводчика*) и спокойствии своего народа... более чем необходимо, чтобы его королевское величество, король сего королевства в настоящее время, по рекомендации своего достопочтенного Совета, объявил бы чрезвычайное положение для блага и политического порядка и управления сим своим королевством Англией... для защиты своего королевского достоинства и для дальнейшего укрепления его *commonwealth* и спокойствия его подданных» [17].

Первый закон об измене Эдуарда VII, 1547 г., в отличие от приведенного выше отрывка, определенно трактует понятие *commonwealth* в его новом значении – «общества»: «Такие времена иногда настанут в *commonwealth*, что требуется ужесточение законов». В других документах термин все еще используется в двойном значении. Например, в *Act Concerning the Improvement of Commons and Waste Grounds* (1550) говорится «о законодательных парламентских актах... способствующих *commonwealth* сего королевства Англии» [18]. Но данные о том, что это слово становится близким синонимом слова «королевство» (*realm*) – которое все еще употребляется очень часто – в наличии имеются. Понятие «королевство», таким образом, приобретает значение «организованной общности» (*polity*) государства, каковое является скорее коллективным предприятием, чем собственностью короля, – сдвиг в восприятии этого слова был вызван несовершеннолетием Эдуарда.

Документы царствования Марии³ не более чем сохраняют то же состояние дискурса, которое было при ее брате Эдуарде VI. Дальнейшего развития нет, но важно отметить, что нет и движения назад. Ее правление тоже поверяется вкладом в «общее благо сего королевства», и термин «общее благо» по временам используют в двойном значении.

При Елизавете⁴ политический дискурс претерпевает основополагающие изменения, что со всей очевидностью было отражено в произведениях того времени, таких как *Commonwealth of England* Томаса Смита или *Laws of Ecclesiastical Polity* Ричарда Хукера (*Hooker*). Слово «страна» произносилось на одном дыхании со словом «Господь», оно пробуждало религиозные чувства и приобрело значение, сходное с религиозным понятием. Термин «нация» распространялся все шире. Слово *commonwealth* (общее благо, государство) использовалось для обозначения английского (или любого другого) государства (*polity*) и общества (*society*). Лексика же документов времен Елизаветы, хотя, конечно, и менялась, но от времени отставала. Слово *commonwealth* в парламенте употреблялось все еще, в лучшем случае, в нескольких смыслах. Парламент использовал его в архаическом смысле, как будто он намеренно отказывался признавать новое понятие – или выражать это признание. Когда употреблялись новые термины – а в их число входили такие важные слова, как часто употребляемое *state* (государство как территория и проживающая на ней организованная общность) и редко употребляемое *nation* (нация) – они также использовались так, как будто

³ Мария I (1516–1558) – королева Англии с 1553 г. Прозвища – Мария Католичка, Мария Кровавая.

⁴ Елизавета I (1533–1603) – королева Англии с 1558 г.

они не были признаны официально. Их употребляли не для того, чтобы сделать какое-либо утверждение, а почти как неосознанное отражение уже принятого языка. Концепты и идеи, с которыми с течением времени стали ассоциироваться новые термины, отображали ситуацию, связанную с борьбой за верховную власть в государстве (polity). Однако парламентарии тех лет были в большей степени озабочены внешними угрозами и не желали ввязываться во внутренние раздоры. В языке их, поэтому, хотя он и был яростно антииностранным, выказывается несколько поразительное (по сравнению) отсутствие такой же страсти относительно дел внутренних.

Слово state, в большинстве случаев, используется в форме estate (территориальное владение). В Act of Supremacy (1559) говорится о «возвращении короне старинной юрисдикции над State Ecclesiastical and Spiritual»; в Законе об измене (1571) появляется фраза «благоденствие всей state и подданных королевства»; а в Act of Surety of the Queen's Person в том же самом клише используется слово estate: «для счастья и благоденствия всей территории сего королевства». В Lay Subsidy Act (1601) тем не менее термин имеет другое значение. Здесь он появляется в преамбуле: «Мы, Вашего Величества нижайшие, верные и преданные подданные ... собрались здесь ... чтобы обсудить ... и предоставить ... любые средства, необходимые или которые могут быть необходимы для того, чтобы предохранить Вас и нас от тех явных опасностей, которые могут угрожать этому State (государству)». Здесь на этом термине делается акцент и им намеренно заменили слово «королевство», которое представляло polity (государство как организованную общность) в качестве личной собственности монарха. В данном случае государство (state) является синонимом «commonwealth» (государства как отчизны, государства как общего блага); оно представляет собой деперсонализированную организованную общность, в которой «Ее Величества нижайшие, верные и преданные подданные» принимают такое же участие, как и сама королева, и поэтому имеют такое же право на политическое решение. Этот закон вообще был демонстрацией парламентских «мускулов»; использование термина state в этом контексте служило для того, чтобы показать, что парламентарии осознают, в чем заключаются их права, и собираются их отстаивать. В отличие от этого термина, слово «нация» в елизаветинских законах используется в совершенно нейтральной манере. Например, «Второй закон об измене» (1571) использует его как одну из возможных характеристик человека или людей: «Для всех людей и каждого человека, любого ранга, любого состояния, нации, происхождения и территории» [19]. Закон, главным образом, имел отношение к подданным Елизаветы, из чего мы можем сделать вывод, что понятие «нация», вероятно, обозначало не более чем род и семейственные связи.

С восшествием на престол Якова I (1603) и тон, и лексика документов резко меняются. В это царствование парламент с замечательным постоянством утверждал свое право на равную долю участия в управлении страной, это отстаивание своего права выражалось в том, что парламент настаивал на представительном характере своей позиции, и в том, что у него изменилось восприятие объекта службы. Объект службы – Англия – уже не был больше «королевством Его Величества короля» (термин потерял смысловой оттенок собственности), Англия стала «нашей родной страной», государством в значении общего блага (commonwealth) – res publica – и нацией.

В этом пункте ясность была внесена уже в первом, мирном по сравнению с другими, которые за ним последовали, документе этого периода. Акт о престолонаследии 1604 г., бывший «самым радостным и праведным признанием непосредственного, законного и несомненного наследования престола, по происхождению и праву короны», растолковывал Якову I то, какими «великими и многообразными благами Всемогущий Господь наградил это королевство и нацию», благодаря союзу домов Йорка и Ланкастера. Королю также напоминалось, что «по закону сего королевства считается, что в парламенте присутствует все

королевство (как организованная общность) и каждый отдельный его житель, либо лично, либо через своих представителей (каковых он выбирал собственноручно)» [20]. *Apology and Satisfaction of the House of Commons* (1604) также начинается с напоминания королю о том, что палата общин представляет английских «рыцарей, граждан и буржуазию», и после комплиментов Якову I относительно его мудрости этот документ доводит до сведения короля-чужака, что «никакая человеческая мудрость, сколь бы великой она ни была, не в силах объять все особенности прав и обычаев людей ...если только она не пользуется опытом и правдивым отчетом тех, кто этих людей знает». По этой причине, констатировала палата общин, «мы вынуждены, исходя из нашего долга перед Вашим Королевским Величеством, которому мы служим так же, как и нашей любимой родной стране, для каковой мы и служим в парламенте», дать королю совет. Палата общин советовала уважать и обращать внимание на «права и вольности сего королевства», более всего имея в виду признание за парламентом равной или даже большей доли участия в управлении страной. Она оправдывала свое недовольство поведением Якова «долгом перед Вашим Величеством так же, как и перед нашей страной, городами и местечками, которые нас сюда послали». В конце этого документа парламентарии предполагали, что «Его Величество был бы рад получить публичную информацию от своих Общин в Парламенте для цивилизованного управления и власти, ибо... считается, что глас народа, касательно тех вещей, которые входят в его разумение, есть глас Божий» [21]. Такая несколько специфическая, концовка была ярким свидетельством того, что у парламента изменилось восприятие собственного статуса и политической реальности. Документы конца этого царствования пестрят подобными утверждениями.

Интересно, что дух изменившегося дискурса проникал также и в Парламентские речи короля. В речи «Относительно союза с Шотландией» (1607) Яков назвал Англию и Шотландию «двумя нациями» и представил свое стремление объединить их в союз только лишь как намерение «распространить величие Вашей империи, находящейся здесь в Англии». В речи «Относительно королевской власти» (1610) он снова подтвердил свое намерение, апеллируя к «чести Англии», говорил о «государстве *commonwealth* (общего блага), «древней форме этого Государства (*state*) и законах сего королевства». Он согласился с тем, что Парламент является «органом народа» и «представительным органом всего королевства в целом» [22]. Даже в письме в палату общин (1621), где Яков выражал свое недовольство палатой, он, безусловно, считая, что управление Англией есть исключительно прерогатива королей, писал следующее: «Никто здесь (в палате общин) впредь не должен осмеливаться на вмешательство в любые дела, касающиеся нашего управления государством (*state*) или в наиболее серьезные проблемы государства». Используя новое неличностное понятие организованной общности (государства, *polity*), Яков вряд ли хотел подчеркнуть, что государство, на самом деле, являлось общим предприятием, где доли имелись у многих участников, но точка зрения, что страна есть просто собственность короны, уже была невообразима. Политическая реальность уже была не той, что прежде, и для того, чтобы выразить свои мысли по ее поводу, требовались новые понятия.

Переосмысление парламентом политической реальности – а оно формировало эту же политическую реальность не меньше и не менее прямо, чем любая экономическая или политическая революция, – продолжалось и при несчастном сыне Якова Карле I⁵. Слова «королевство» и «государство» (*commonwealth*) проговаривались на одном дыхании. Тот, кто совершал какие-либо действия, противные их или, скорее, его благу, должен был быть объявлен «предателем вольностей английских и врагом таковых же»; Великое увещание (*the Grand Remonstrance*) 1641 г. было мотивировано желанием восстановить и вернуть

⁵ Карл I (1600–1649) – английский король с 1625 г., был низложен и казнен в ходе Английской буржуазной революции XVII в.

«былую честь, величие и безопасность короны и нации». Сам король в Writ for the Collection of Ship Money апеллировал к старинным обычаям английской «нации» [23].

Конфликта «между королем и его народом» избежать было можно, а вот признания национального характера государства (polity), после того как эта новая перспектива развивалась беспрепятственно в течение полутора столетий, – нет. Этот конфликт послужил запалом для утверждения национального государства; это утверждение определило характер гражданской войны и отразилось, кроме всего прочего, в языке документов кромвелевской эпохи. Документы эти отличаются недвусмысленно национальной позицией в интерпретации государства как организованной общности (polity). А в то время государство прямо определяли как нацию. Само это слово (нация) использовалось с необычайной частотой и постоянством; оно стало главным термином для термина «Англия». Термин «королевство» (realm), напротив, появляется лишь в редких случаях. Синонимами слова «нация» были «народ» и «государство (как общее благо)»; последнее, правда, имело, пожалуй, более специфическое определение после отмены королевской власти.

Изменившийся тон официальных документов стал виден сразу же. В 1644 г. в указе парламента о назначении Комитета по сотрудничеству с Шотландией говорится об управлении «делами обеих наций в общей деятельности, в соответствии с целями, которые были зафиксированы в последнем договоре и договоренностях между двумя нациями: Англии и Шотландии», хотя, в действительности, договор был между двумя **королевствами**. Главы делегаций в 1647 г. обещали королю, что в случае утверждения договора и, если «вещи, в нем предлагаемые, будут осуществлены в целях утверждения и сохранения прав, вольностей, мира и безопасности королевства, то особа его Величества, Королева и их потомство смогут снова пользоваться безопасностью и свободой, и находиться в достойном положении в сем королевстве» [24].

Естественно, наиболее ясно и мощно этот язык отражен в документах 1649 года, в Законах об упразднении Палаты лордов, упразднении королевской власти, установлении Республики (Commonwealth), и создании высокого суда справедливости для процесса над Карлом I. Палата лордов была упразднена, согласно Первому закону, потому что «она была бесполезна и опасна для народа Англии» [25]. Для Закона об учреждении высокого суда справедливости для процесса над Карлом I были использованы те же основания. Закон гласил, что «король, недовольный теми многими посягательствами на права и вольности людей, которыми отличались его предшественники, возымел нечестивое желание полностью ниспровергнуть древние и основные законы и вольности этой нации... и развязал и разжег жестокую войну в стране против парламента и королевства». Посему и «для предупреждения любых дальнейших попыток, умыслов и побуждений с целью порабощения или уничтожения английской нации, было решено в законодательном порядке, что его следует предать суду». Закон об упразднении королевской власти, принятый двумя месяцами позже, гласил, что «в опытном порядке стало известно, что королевская власть в сей нации и Ирландии... не является необходимой, она есть тягостное бремя, и является опасной для свободы, безопасности и общественных интересов народа». Поэтому законом устанавливается, что «впредь власть короля над этой нацией упраздняется», а «самым счастливым путем для этой нации ... будет вернуться к своему праведному и былому праву, быть управляемой своими собственными представителями». Власть, как там дальше говорится, будет «теперь осуществляться в форме Commonwealth». Понятие commonwealth получает здесь новое значение: республиканское правление. По-прежнему существовало некоторое смешение терминов, которые использовались в качестве близких синонимов к слову «нация». Закон об установлении Commonwealth (Республики) декларировал, что «весь народ Англии и всех доминионов и земель, ей принадлежащих, теперь и отныне, в законном, установленном и заверенном порядке будет Commonwealth and Free State (свободным государством общего

блага), и впредь управлять этим государством будет высшая власть сей нации, то есть представители народа в парламенте» [26]. В то время как слово «commonwealth» явственно обозначало республику (в отличие от монархии), это понятие, так же, как и state (государство как территория и организованная общность и власть) – все еще приравнивалось к «народу английскому». А народ, конечно же, ни к какой форме правления отношения не имел, термины могли быть уравнены по значению только, если они все подразумевали новую форму организованной общности, т. е. нацию.

Предположение о том, что лексика парламентских документов была сознательно изменена, хотя и не парламент эту лексику изобрел, а она существовала как часть общего политического дискурса, поддерживается тем фактом, что при Реставрации вернулись более ранние формулировки. Англия снова стала «королевством» (realm), хотя было вполне понятно, что это уже не прежнее королевство, и главное слово «нация», хотя и не исчезло совсем, использовалось неосознанно, там, где оно не очень много значило. Однако оно присутствует и достаточно значимо в тайном письме-приглашении Вильгельму⁶ и Марии (1688), а также в Билле о правах (1689). Факты эти свидетельствуют о том, что, с одной стороны, все заинтересованные лица прекрасно понимали, что стоит за различными терминами, а с другой стороны, что частичный возврат к старой риторике был скорее косметическим, чем фундаментальным изменением в дискурсе: возврата к донациональному понятию организованной общности не было.

⁶ Вильгельм III Оранский (1650–1702) – английский король с 1689 г. До 1694 г. правил совместно с женой Марией II Стюарт.

Ранние проявления национального чувства

Зарождение национального чувства в Англии можно отнести к первой трети XVI в. Это чувство проявляло себя различными способами. На уровне народа существовала сильная нелюбовь к иностранцам. В 1517 г. эта нелюбовь выразилась в яростном бунте против ремесленников-иностранцев, который подавил кардинал Вулси⁷. Ремесленники-иностранцы в то время составляли значительную часть населения Лондона, и Эдвард Холл (Edward Hall) в своем *Chronicle* утверждал, что конкуренция с их стороны не давала урожденным англичанам зарабатывать себе на пропитание [27]. Но именно в этот период влияние иностранцев в Англии стало ослабевать, и Холл чувствовал, что ксенофобию его соотечественников скорее можно было бы объяснить презрением к ним со стороны иностранцев, нежели исключительно экономическими факторами.

Действительно ли иностранцы испытывали это презрение, не так уж важно. Важным и новым здесь является то, что англичане стали особенно уязвимы и чувствительны к подобного рода обидам. Эта чувствительность ярко отразилась в сочинениях двух наиболее известных ранних английских националистов: Джона Бейла и Роджера Эшема (John Bale and Roger Asham). Оба неистово защищали Англию от подозреваемых в неуважении к ней иностранцев. В 1544 г. Бейл никак не мог простить Полидору Верджили (Polydore Vergil) – первому, кто систематизировал историю Англии, – которого Бейл называл не иначе как этот «римский джентльмен, папский прихвостень», недостаток пиетета к английскому духовному богатству. По мнению Бейла, Полидор «самым постыдным образом осквернил наши английские хроники своим римским враньем и прочими итальянскими пакостями». Бейл настаивал на том, что Англия славна «своими замечательнейшими умами». Он писал, что, по его разумению, «самой необходимой работой в честь Господа, украшения королевства, человеческой эрудиции, следующей за священными текстами Библии, будет труд по представлению английских хроник в их правильном виде» – он умолял ученых англичан этим заняться [28].

Жив или мертв обидчик – не имело значения. Эшем в более поздней работе *The Scholemaster* высмеивал Цицерона, чье мнение об Англии было не слишком лестным, за столь нелепую оценку. «А знаешь ли ты, господин Цицерон, – писал он, – что, слава тебе Господи, спустя 1600 лет со дня твоей смерти, можно сказать, воистину, что для пожертвованных в одном лишь Граде английском есть более глубокая тарелка, чем в четырех самых гордых городах всей Италии, включая и Рим». А что до учености, то «кроме знания всех ученых языков и изящных искусств, даже ваши собственные книги, Цицерон, в Англии так же много читают и вашим замечательным красноречием так же восхищаются и, воистину, последовательно учатся ему, как это происходит сейчас, или происходило когда-либо в ваше время, в любом городе Италии» [29].

И Эшем, и Бейл постоянно сравнивали Англию с другими обществами, античными и современными. Практически никакая сфера жизни не была оставлена без внимания. «Артиллерия Англии, – писал Эшем в *Toxophilus* (1545), «намного превосходит все другие королевства». Бейл в *The Examination of Anne Askew* (1547) сравнивал Анну с Бландиной, мученицей «первобытного начала... христианства», описанной Эвзебием. Было довольно затруднительно, но он с этим справился, показать, что Анна Аскью в каждом аспекте своего мученичества напоминала Бландину и была похожа на нее силой и чистотой духа и даже внешне – доказательство того, что английские мученики были равны любым из тех, кого породило христианство [30]. В сочинениях Бейла патриотизм и религиозное рвение причудливым

⁷ Вулси (Уолси) Томас (ок. 1473–1530) – кардинал с 1515 г. В 1529 г. был обвинен в государственной измене.

образом смешиваются. В *Chronicle of... John Oldecastell* он сравнивал христианских мучеников с теми, «кто, либо погиб в битве за свою родную страну, либо подверг свою жизнь опасности, сражаясь за свое государство (*commonwealth*)», и считал, что они одинаково заслуживают «вечной памяти» [31]. Подобные сравнения, отождествление служения своей родной стране со служением церкви, подчеркивали, по мнению Бейла, то, что в них являлось общим и похвальным в смысле человеческого поведения. И те и другие были героями, заслуживающими высокой оценки, отдавшими жизнь или покой за ту общность (*collectivity*), к которой они принадлежали. Мученичество не рассматривали как вещь чисто религиозную, или, пожалуй, религиозные сообщества все больше и больше рассматривали как некую разновидность наций.

Творчество в культуре этого периода почти целиком и исключительно мотивировалось патриотизмом. Наступило возрождение Чосера; Вильям Тинн (*Thynne*) собрал, издал и переиздал рукописи Чосера, первый том вышел в 1532 г. *Toxophilus* был написан в знак авторской любви и долга по отношению к королю и в знак привязанности писателя к своей стране. По этой же причине он был написан «для английского народа... и на английском языке». Эшем объяснял, что «хотя написать его на другом языке было бы полезнее для моих студентов, а также для славы имени моего, но буду я считать высокой наградой труду своему, если от малой выгоды моему состоянию и имени может произойти какое-либо умножение удовольствия или комфорта джентльменов и йоменов английских, во имя которых я и написал этот труд». Томас Элиот в *Proheme* к *Governour* сказал так: «Ничто в этом мире я не ценю так высоко, как ваше королевское государство (книга была посвящена Генриху VIII) ... и общее благо (*public weale*) моей страны». Книга была написана как размышления о том, в чем состоит его долг «перед родиной», каковой Элиот страстно хотел «отдать часть своих изысканий, памятуя истинно о своем долге перед Господом, перед Вашим Величеством и родной страной». В общем, патриотизм стал заменять другие формы преданности. Сэр Томас Уайет, дипломат и один из первых поэтов столетия, ставшего в Англии Веком великих поэтов, писал: «Мой Король и моя Страна – вот кого единственно люблю я», а Томас Старки (*Thomas Starkey*) в *Dialogue* в 1530 г. требовал от кардинала Поула (*Pole*), чтобы тот посвятил свою жизнь своему отечеству (*Commonwealth*) [32].

Новая аристократия, новая монархия и протестантская Реформация

Англичане были не первыми, кто заявил о своих обязательствах перед политической общностью, и не единственными, кто об этом в XVI в. заговорил. Ник-коло Макиавелли, почти современник первых английских националистов, был оригинальнее их, сказав, что он любит Флоренцию больше собственной души, и совершенно очевидно (и из природы самих понятий, и из того, на чем были воспитаны их пропагандисты), что англичане сильно попользовались идеями итальянского Ренессанса. Но то, что произошло с этими идеями в Англии, в это время не смогло произойти больше нигде. Только в Англии, благодаря замечательному совпадению, цепи обстоятельств, в которых не было ничего неизбежного, этим идеям удалось сохраниться и развиваться в течение целого столетия. Эти обстоятельства способствовали тому, что все большее число людей из различных социальных слоев усваивало и развивало эти идеи. В результате к 1600 г. эти идеи стали уже не просто чем-то умозрительным, а превратились в реальность, способную порождать новые идеи и трансформировать социальные структуры. Главными из этих обстоятельств – в порядке возникновения скорее, чем по важности, – были изменение социальной иерархии и беспрецедентное увеличение социальной мобильности в течение XVI в., характер и нужды сменяющихся царствований Тюдоров, и протестантская Реформация.

История редко снабжает нас событиями, которые произошли бы в одночасье и обозначили бы четкий разрыв с прошлым, так чтобы можно было бы вычленив причину многого из того, что случится впоследствии. Хотя, по крайней мере, некоторые из тех обстоятельств, которые способствовали возникновению английского национализма и нации, можно сказать, берут свое начало на Босвортском поле, в последнем сражении Войны роз⁸ и в восшествии на английский трон династии Тюдоров. Во всяком случае, это событие добавило последний символический штрих к распаду английского феодального сословия (к чьему стремительному упадку последовательно приложили руку два Генриха⁹) и стимулировало реорганизацию социальной пирамиды согласно другому порядку.

Утверждение национальности английского государства как организованной общности шло рука об руку с настоятельным требованием, чтобы народ имел право участвовать в политическом процессе и управлении страной через парламент. Практически в этом случае быть Англией как нацией и обозначало такое участие. Английский народ стали представлять как нацию. Это символически возвышало его до положения элиты, у которой было право на самоуправление и от которой это и ожидалось. Национальность (nationhood) приравнивалась к политическому гражданству. Это символическое возвышение подразумевало капитально изменившийся взгляд на социальную иерархию и традиционную классовую структуру.

Литературные источники того времени дают обильные свидетельства подобного изменившегося взгляда на вещи. Особенно ярко это новое мировоззрение выразилось в новом отношении к высшим и низшим слоям общества. К ним теперь относились восхитительно одинаковым образом. С одной стороны, английские писатели требовали уважения к простому народу. Джордж Гаскойн умолял духовенство: «Молитесь за простой народ, всяк по-своему» и говорил: «Молитесь за него (землепашца) попы/ Пусть он потный и вонючий/ Не презирайте его/ Ибо именно такие люди попадают в Рай, впереди чисто выбри-

⁸ Война Алой и Белой розы (1455–1485) – фактически война за английский престол между династиями Плантагенетов: Ланкастерами (в гербе алая роза) и Йорками (в гербе белая роза).

⁹ Генрих VII и Генрих VIII, XVI в.

той знати)» [33]. С другой стороны, благородное происхождение и происхождение вообще быстро утрачивали свою важность [34]. Знатность теперь определялась не родовым именем, а индивидуальными личными качествами и поведением. Джон Бейл в Examination of Anne Askew посвятил небольшую главу предмету Nobility, whereof it riseth (откуда происходит знатность) и, говоря об Анне, определял знатность следующим образом: «Рождена она была в Линкольншире и была из очень древнего и знатного рода. Но нет никакого достоинства в плоти или в любом мирском благородном звании перед Стражем Господним, без разрешения которого никто не будет допущен в Царствие Небесное... Только верою в него, истинной любовью и страхом, можем стать мы достойными, благородными детьми Господа. Марло заявил в «Тамерлане Великом»:

«I am a lord for so my deeds shall prove
And yet a shepherd by my parentage.
(Я по делам своим достойный лорд,
Но предки мои были пастухами)...»

Барнаби Гудж (Barnabe Googe) точно так же расширил применение термина «джентльмен»:

For if their natures gentell be
Though birth be never so base
Of gentlemen (for mete it is)
They ought have name and place.

(Ибо, если у них благородная натура, а происхождение – не столь, то им следует иметь звание джентльмена и занимать положенное ему место).

Многие были в этом отношении более избирательны и, как Джордж Чапмен (Chapman), считали, что «знатным делает человека ученость». Джордж Путнем (Puttenham) противопоставлял «воинственное невежество», которое традиционно было фирменным знаком знати, «похвальной учености», а Генри Пичем (Henry Peacham) полагал, что образованность есть «существенная часть знатности» [35].

Касательно данного вопроса, замечательной по своей полноте была точка зрения Томаса Элиота, высказанная им в Boke Named the Governour. Элиота иногда рассматривают как защитника иерархического социального порядка, и, безусловно, он им и был, и тем не менее его точка зрения на социальную иерархию, которую он обнародовал в 1531 г., имела очень мало общего с понятием феодальной общественной структуры [36]. Для него основанием иерархии служил природный ум, который он называл разумением. Разумение, писал он, «есть самый замечательный дар, который человек мог получить при сотворении, именно здесь он наиболее всего является Божьим подобием, и, посему, было бы правильно и согласно, ежели кто-либо превосходит иного в этом качестве (качестве разумения), то, поскольку это приближает к Создателю, значит, он находится ближе к Господу – следовательно, личность эта должна быть поставлена на то место, или получить такой ранг, где бы от ее разумения был толк». Соответственно, только это и являлось справедливым и разумным обществом – а publike weal (общим благом), «где, поскольку Бог распространил в нем вышеописанное влияние разумения, места и ранги распределяются в соответствии с превосходством в этом качестве». Элиот отчитывал тех знатных господ, которые «бесстыдно смеют утверждать, что для высокородного джентльмена зело неуместно быть высоко обра-

зованным и называться грамотеем». Сама знатность была лишь «наградой и оценкой добродетели», а основой этой добродетели служили разумение и ученость [37].

Ученость действительно выросла в престиже и важности. В 1531 г. нарисованная Т. Элиотом картина относительно того, как ценится или скорее не ценится образованность в Англии, была довольно мрачной. Всего лишь пятнадцатью годами позже Р. Эшем сравнивал сложившуюся ситуацию «с временами отцов, когда не читали ничего, кроме куртуазных рыцарских книг, читая которые, человек влекся лишь к убийству себе подобных и кровопролитию» и отмечал значительную разницу. «В наше время, – писал он, – каждый человек скорее предпочтет больше узнать, чем лучше жить». Сомнительно, чтобы в действительности это было совершенно объективным утверждением, ибо даже позднее, когда в 1622 г. Пичем написал «Совершенного Джентльмена» (Complete Gentleman), то и тогда он ставил себе цель «излечить» молодых английских джентльменов от «тирании сих невежественных времен, от обычного образования, которое означало, носить самую лучшую одежду, есть, спать, много пить и ничего не знать». И все же, несомненно, в отношении к образованию был заметный сдвиг, ученость становилась важной ценностью и признаком джентльменского поведения. Она заменяла собой другие признаки, по которым ранее определялось благородное сословие. Ее называли «благородной», вслед за страхом Божьим ее считали «источником всяческого, разумного мнения и указания», и она исполняла важнейшую роль в нации: «Молитесь за кормильцев нашего благородного королевства», – говорил духовенству Дж. Гаскойн. – Я имею в виду наши достойные университеты» [38].

Литература, в этом случае, лишь отражала тенденции, отчетливо заметные в реальности. В XVI в. Англия претерпевала глубокую социальную трансформацию. Это был период беспрецедентной мобильности, который, благодаря ряду обстоятельств, беспрепятственно продолжался на очень высоком уровне долгие сто лет или около того. Первым звеном в этой цепи обстоятельств было вымирание древней знати «сверхмогущественных подданных позднего Средневековья» [39], окончательно завершившееся к 1540 г. Этот процесс был в интересах монархии, которая никогда не упускала случай ускорить его с помощью казней, конфискаций, лишений гражданских и имущественных прав или с помощью комбинации вышеперечисленного, и, в общем и целом, он шел, благодаря целенаправленной политике короны.

Одновременно с уничтожением древней знати появлялся слой, призванный ее заменить. Новая аристократия – аристократия Генрихов – отличалась от той, которую она заменила и в смысле своего функционального базиса, и в смысле социального облика ее представителей. Это была, главным образом, служилая элита. Массовое возведение в пэрское достоинство достойных этого королевских слуг началось не раньше 1530 г. [40]. Однако в то время оно совпало с отстранением духовенства от ключевых административных постов [41]. Таким образом, корона стала зависима от службы университетски образованных мирян. Большинство новых ставленников были людьми скромного происхождения, но замечательных способностей и образования [42]. Их набирали из мелких джентри (нетитулованное дворянство) или даже из более низкого слоя. Аристократия фактически изменилась по природе своей и стала открытой для таланта. В то время как благодаря вымиранию древней знати освобождались важные посты и стала возможной определенная мобильность, новая аристократия в действительности эту мобильность приветствовала.

Переопределение аристократии в литературе как статуса, основанного на заслугах и достоинствах, а не на происхождении, было простым признанием этой трансформации, перемещения власти от одной элиты к другой, которое буквально происходило на глазах. Но фундаментальная трансформация подобного рода требует осмысления и морального оправдания, простым признанием здесь не обойтись. **Я считаю, что именно при стечении этих обстоятельств и зародился национализм.** Идея нации – народа как элиты – привлекала

новую аристократию, и та медлительность, с которой корона до 1529 г. подтверждала статус этой аристократии, награждая ее титулами, только усиливала привлекательность этой идеи. Национальность, некоторым образом, делала любого англичанина знатным человеком, и голубая кровь уже была необязательной, чтобы достичь или претендовать на высокое положение в обществе. Новая аристократия была аристократией природной, элитой по уму и добродетели, и ее более высокое положение оправдывалось службой, которую она могла выполнять для других, благодаря столь выдающимся достоинствам.

К 1530 г. идея службы для нации вошла или, во всяком случае, входила в дискурс, так же, как и понятие «Англия», в качестве отдельного целостного единства и организованной общности (polity), которая была уже не просто королевской вотчиной, а общим достоянием, благом (commonwealth). Эти идеи ясно отражены в источниках. Несомненно, частично они были модификацией определенных идеалов Ренессанса, для их выражения часто использовался идиом классического патриотизма, и первыми представителями зарождающегося национализма были в основном люди «нового образования». Но совершенно очевидно, что в данном случае это не было пассивным заимствованием и усвоением чужих идей. Эти идеи, которые «как души, витали в мифологическом забвении» над всей Европой нашли и обрели тело в Англии [43]. Потребность новой элиты в мировоззрении, которое бы ободряло, помогало осмысливать действительность и узаконивало ее положение в реальности, была, по крайней мере, столь же важна, сколь и заимствованные понятия, участвовавшие в создании такого мировоззрения [44].

Поскольку идею «нация» первой оценила новая аристократия, слой населения, нуждавшийся в ее осмысляющей и законодательной мощи и находивший эту идею привлекательной, рос постоянно. Новая аристократия пользовалась достоянием, экспроприированным у церкви во времена разрыва с Римом, которое было просто отдано достойным слугам короны или продано по ценам, гораздо более низким, чем была истинная стоимость этой собственности. В 1540 г. из-за финансовых нужд, в свете военной кампании во Франции, еще больше церковных земель было продано и перешло ко все увеличивающемуся количеству народа. Большинство новых лендлордов происходили из сельского дворянства и наиболее богатых йоменов. Объединенное новым богатством, это большинство способствовало созданию большого слоя населения, иерархии сквайров, ставшей главным поставщиком новой элиты.

В свою очередь, в иерархию сквайров вливались те, кто с успехом пережил процесс расслоения традиционного сельского общества и реорганизацию сельского хозяйства, которая происходила в это время. Патерналистские отношения между лордом и арендаторами и традиционные соглашения об общинном использовании земли постепенно заменялись рыночными отношениями и соглашениями. Общинные и пустые земли огораживались, фермы поглощались, чтобы эффективнее использовать землю. В результате множество людей согнали с земель, что породило тяжелейшую социальную проблему того времени и стало объектом большей части законодательства в области социального обеспечения. Многие же люди остались безземельными сельскохозяйственными рабочими. Для меньшего, но тем не менее значительного количества людей, огораживание открыло новый путь к продвижению наверх, эти люди улучшили свое положение, стали процветающими арендаторами и землевладельцами и постепенно просачивались в нетитулованное дворянство [45].

Таким образом, нетитулованное дворянство (джентри) росло и по количеству, и по богатству. Этот рост дополнялся параллельным развитием профессий, особенно это касалось юристов, а позднее духовенства и торговцев. Лоуренс Стоун (Lawrence Stone) охарактеризовал это параллельное развитие как «главный факт английской социальной истории между 1540 и 1640 гг., и по его последствиям, как главный факт английской политической истории» [46]. Действительно, значение его было колоссальным, ибо развитие профессий

создало то, что социологически определяется как средний класс. Этот слой не только буквально располагался посередине социальной пирамиды, но он еще и был широким, разнородным и целеполагающим (achievement-oriented). Он сам находился в постоянном движении, люди в нем перемещались то вверх, то вниз, новые люди вливались в него из низших слоев, другие же переходили из него в аристократию.

Стать сельским дворянином можно было через владение землей, профессии предлагали другой путь к продвижению – через образование. Как и передача земельной собственности и даже, может быть, в большей степени, образование было великим уравнителем. В школах, университетах и в судебных Иннах (коллегиях) младшие сыновья нетитулованных дворян готовились к профессиональной деятельности вместе с детьми сквайров, аристократов, купцов и ремесленников. Все они смешивались там с молодыми сквайрами и аристократами, поскольку предполагалось, что теперь тонкий высший слой общества будет состоять из ученых людей. Аристократия и джентри XVI и начала XVII вв. были действительно необыкновенно хорошо образованы. Пример образованности джентри представляет палата общин 1640 года, которая «в смысле формального высшего образования ее членов» с точки зрения 70-х гг. XX в., была «самой образованной из всех когда-либо существовавших». Ясно видно, насколько же замечательным стало образование в Англии, если вспомнить, что в начале XVI в. по оценке Эразма Роттердамского, в Лондоне было пять или шесть (sic!) эрудитов и одна «тощая» библиотека [47].

Умаление важности происхождения и увеличение значимости образования в качестве критерия знатности стало причиной переопределения социальной иерархии. Категории высокого статуса стали очень широкими и включали в себя людей, у которых в былые времена были бы совершенно разные жизненные пути. «Благородное имя Рыцарь может относиться и к Герцогу, и к эрлу, и к лорду, и к рыцарю, и к сквайру», – писал Гаскойн. Джентльмены в Англии стали «расхожей монетой», к ним все больше стали принадлежать люди из широких слоев населения. Наблюдатели отмечают размывание различий между ранее резко отличавшимися друг от друга стратами. «Любой господин (gentleman) из подлого сословия может жить так же, как в прежние времена жили принцы и лорды. ... У человека подлого звания может быть дом, достойный принца», – писал Старки не позднее 30-х гг. XVI в. Социальная структура на некоторое время стала необыкновенно открытой. Это было время людей, которые сами себя сделали (self-made), столетие отличал дух авантюризма, бал правили амбиции. Казалось, что никто не был доволен своим положением, и все добивались более высокого статуса. «Землепашец жаждет получить звание йомена, йомен – джентльмена, джентльмен – рыцаря, рыцарь – лорда, лорд – герцога», – отмечал Джон Бэйт (John Bate) в 1589 году [48]. Многие биографии того времени служили подтверждением тому, что как ничто не могло удержать человека от падения, так ничто и не мешало ему преуспеть и занять высокое положение.

Идея «нация» была привлекательна для постоянно растущего среднего класса не менее, чем для новой аристократии. Она de facto подтверждала равенство между ними во многих областях, так же как и притязания представителей среднего класса на расширение их участия в политическом процессе и на большую власть. Эта идея давала людям возможность гордиться своим положением в жизни, каким бы это положение ни было, потому что прежде всего и превыше всего они были англичанами, и они были уверены в том, что могут достичь большего, ибо то, что они были англичанами, давало им право быть тем, кем они пожелают. Многие, пожалуй, большинство писателей, развивавших и пропагандировавших националистические идеи, начиная с сороковых годов XVI в., вышли из этого среднего класса. Его представители также заседали в палате общин. И в то время как увеличивающееся значение парламента служило еще одним доказательством тому, что они действительно были представителями нации, их национальное самосознание заставляло их требовать для парламента все

большей власти. Таким образом, власть парламента и национальное самосознание питали друг друга, и этот процесс усиливал их обоих.

Национализм в Англии рационализировал и легализовал то, что Токвиль, впоследствии и в другом контексте, называл демократией – то есть тенденцию к уравниванию условий существования разных социальных слоев. И хотя слово это, применительно к политическому режиму правления большинства, звучит одиозно для защитников и адептов статуса английской нации (nationhood), которым эта идея вовсе не была симпатична, политическая демократия была именно тем, что подразумевала идея «нация». Именно к политической демократии эта идея самой судьбой была предназначена в конце концов привести. Однако в XVI в. английский национализм в основном сосредоточился на особе монарха – важного символа английской особенности и верховной власти (sovereignty). Корона, со своей стороны, благоволила к национализму, время от времени поддерживая его официальными мерами, которые сильно способствовали его респектабельности, и в целом оказывала ему определенную поддержку, в которой он нуждался для своего развития.

Английские правители из династии Тюдоров снова и снова оказывались в зависимости от доброй воли своих подданных. Генрих VII завоевал трон на поле битвы, и его власть почти полностью покоилась на желании людей, иметь его своим правителем. Он также зависел и от их кошельков, каковые были под контролем у парламента. Поэтому, имея Генрих какие угодно намерения, роль деспота он играть не мог и вынужден был править «конституционно», то есть в соответствии с «законом земли». Вероятно, он делал это неохотно, говорили, что он обычно пользовался советами юристов «окольно и явно ни для чего другого как для того, чтобы посмотреть, насколько безопасны его проекты, и с наименьшей опасностью от них (этих проектов) отклоняться». Несмотря на это, важно, что он вообще просил совета и старался представить «отклонения» таким образом, чтобы «его действия внутри страны соответствовали если не духу, то хотя бы букве общего права». Он также заботился о том, как мы видим из официальных документов той поры, чтобы утвердить свою власть, повышая общее благосостояние своего народа.

Хотя положение Генриха VIII было прочнее, чем у его предшественников, ему все равно постоянно приходилось петь почтительные стансы народу, его представителям и общему праву. Возможно, что у него, как и у его отца, было желание править самовластно, но это желание и в его случае никогда не стало реальностью. Причина этого, по крайней мере частично, была случайной – «слишком много надо было сделать за слишком короткое время» [49]. «Дела», кроме всего прочего, обозначали разрыв с Римом. Отделение от Рима, хотя, казалось, оно было предопределено событиями, имевшими личный и необязательный характер, отражало изменившееся настроение и изменившуюся реальность английского общества. В целом можно высказать корректное утверждение, что «когда Генрих VIII национализировал веру, он выполнял не высказываемое пожелание... своего народа, жаждущего сохранить сущность своего вероучения, и не менее озабоченного тем, чтобы избавиться от малейших следов ненавистного иностранного присутствия» [50]. Потому ли, что Генрих не смог этого осознать, или потому, что он рассчитывал что-нибудь от этого получить в дальнейшем – представляя свое «великое дело», явным образом, как борьбу за «общее благо (государство, commonwealth)», – но он вовлек в эту борьбу парламента и обеспечил активное парламентское участие в разработке и осуществлении этого отделения. Он рассыпал хвалы своей «мудрой, рассудительной и политической палате общин» [51], и не был против растущего национального самосознания внутри нее.

По своим собственным причинам он поддерживал рост национального самосознания. Даже те, кто отказывается рассматривать the Act of Appeals как момент бесповоротного перепределения понятия «империя», допускают, что действительно целью и ярко выраженным желанием Генриха VIII, когда он применял это понятие к Англии, было представить Англию

суверенной организованной общностью (polity), отдельной от всего христианского мира [52]. Существенно, что Генрих VIII хотел или, во всяком случае, чувствовал себя обязанным найти этому подтверждение в английских летописях и поручил историкам их исследовать. Таким образом, он дал начало изучению «английской старины» и помог культивировать то, что стало постоянным любимым занятием того века и важным фактором в формировании английской идентичности.

Также при Генрихе VIII и с его явного разрешения появился новый фактор. Суть его и подразумеваемые ею последствия имели огромное значение и для развития, и для сущности английского национализма. Этим фактором стало издание английской Библии. Отношение Генриха к этому факту было, по крайней мере, противоречивым [53], но это мы здесь не обсуждаем. Влияние английского перевода Библии было беспрецедентным по степени и характеру, его невозможно было предвидеть и даже представить себе до тех пор, пока оно не стало ощущаться. Подобно самой Реформации, издание английской Библии привязало Генриха VIII, или, скорее, Англию «к спине тигра» [54] и, как и в столь многих других случаях, необыкновенная важность этого события заключается полностью в его не предполагаемых последствиях.

Английская Библия, кровавое царствование королевы Марии и жгучий вопрос о личном достоинстве

Великая важность разрыва Генриха VIII с Римом состояла в том, что этот разрыв открыл двери протестантству – возможно, самому значительному из факторов, которые способствовали дальнейшему развитию английского национального самосознания [55]. Протестантизм облегчил и ускорил его развитие различными путями и имел решающее влияние на его природу, хотя национализм предшествовал Реформации и, скорее всего, именно он и сделал ее столь привлекательной для англичан.

Начать с того, что Реформация представила разрыв с Римом как очень значимое событие и узаконила развитие сепаратной идентичности и гордости [56]. Реформистское движение настаивало на священстве всех верующих, и это усиливало индивидуалистический национализм, на котором выросла английская идея нации. Главный же независимый вклад протестантизма в развитие английского национализма, однако, состоял в том, что это была религия Книги. Колоссальную важность здесь имел тот факт, что центральным элементом в ней был Ветхий Завет, поскольку именно в нем давался пример избранного Богом народа, народа, который был элитой и светом для всего мира, ибо каждый человек, принадлежащий к этому народу, был частью договора с Богом. В Англии про эту миссию не забыли, и не случайно в пору великого расцвета, которая привела к тому, что англичане утвердили себя как нацию во времена восстания пуритан, они считали себя вторым Израилем, постоянно возвращаясь к этой метафоре в парламентских спичах и памфлетах, так же, как и в церковных церемониях. Ветхий Завет дал им язык, которым они могли выражать новое национальное сознание. Для этого сознания прежде языка не существовало. Язык этот проник во все слои общества и в результате стал значительно важнее по своему влиянию, чем язык ренессансного патриотизма, знакомый только небольшой по числу элите.

Тем не менее значимость Ветхого Завета как источника общераспространенного идиома для выражения зарождающегося национального сознания не следует переоценивать. Заимствуя язык из Книги, англичане ее одновременно переиначивали. Между версиями английского перевода Книги существуют отмеченные различия, но все они характеризуются высокой степенью независимости от их источников. Например, слову «нация» (особенно в его современном смысле) нет точного эквивалента ни в греческой, ни в еврейской Библии. Хотя во всех английских Библиях это слово используется. Можно было бы это легко объяснить, не принимая во внимание рост национального чувства, если бы латинское *patio* использовалось в Вульгате в тех же контекстах. Авторы английских версий Библии были с Вульгатой хорошо знакомы, и некоторые из них, а именно Майлз (Miles) и Ковердейл (Coverdale), испытали на себе ее влияние. Но в Вульгате *patio* в тех же контекстах не использовалось. В этом отношении особенно замечательной является авторизованная версия, или Библия короля Якова. Прежде всего, слово «нация» там употреблено 454 раза по сравнению со 100 *patio* в Вульгате. Более того, в Вульгате *patio* неизменно используется в отношении общностей по родству и языку; оно имеет этническую коннотацию. В отличие от этого, в английском переводе слово *nation* имеет много значений, если обратиться к употреблению этого слова в других английских источниках того периода. Оно используется для обозначения племени, объединенного узами родства и языка, для обозначения расы, но, по крайней мере, так же часто его применяют как синоним народа, организованной общности (государства как организованной общности), *polity* и даже территории. Библия короля Якова использует *nation* как перевод ивритских *uma*, *goi*, *leom* и *am*, которые в латинской версии чаще всего переводятся как *populus*, а в греческой – как *ethnos* и *genos*. Вульгата же соотносит с ними *patio*, но в ней часто используются и другие слова, такие как *populus* и *genus* или

gen». В одном случае (Исайя 37.18), в английской Библии как «нация» переводится еврейское *aretz*, которое означает землю (*land*) или страну (*country*) и которое в Вульгате корректно переводится как *terra* [57]. Значение «нация» совершенно определенно является политическим. Употребление этого слова в отношении общностей по кровному родству или языку может быть взято из латинской версии Библии, что же касается постоянного употребления этого слова в отношении государств (*polities*), территории и народов (что делает эти различные понятия синонимами), то это является специфической особенностью английского перевода. И откуда бы для этого ни черпалось вдохновение, источником для него не мог быть и, собственно, и не был сам священный текст. Вместо этого Ветхий Завет предался своей инспирированной национализмом интерпретации и обеспечил ее идиомом для независимо развивающегося феномена.

Национализм, санкционированный религией, и религиозное вероучение с ясно различимым националистическим оттенком создавали мощную комбинацию, но потребовался еще один поворот событий, чтобы этот потенциал реализовался. Близость протестантизма к национальной идее гарантировала не более чем отсутствие религиозной оппозиции национализму, возможно, благоприятную обстановку для его развития. Роль же религии в развитии английского национализма была гораздо большей, чем просто роль благоприятного условия, ибо своим столь широким распространением в XVI в. национализм обязан Реформации больше, чем какому-либо иному фактору. К тем, кого могла бы привлечь идея «нация», добавился целый новый слой.

Протестантизм смог сыграть столь важную активную роль в распространении английского национализма, потому что он стимулировал развитие грамотности до беспрецедентных высот. Эффект от этого получился таковым оттого, что люди читали и, по крайней мере, в равной степени оттого, что они читали вообще. Не следует забывать, что печатная английская Библия была сравнительно поздним добавлением к переводам Библии на различные наречия. Первый английский перевод части Библии появился в 1525 г., полная Библия десятью годами позже, и только в 1538 г. в Англии фактически была издана Библия на родном языке. Во Франции, Италии, Голландии, например, подобные переводы существовали значительно раньше [58]. В Германии Священное Писание было напечатано не позднее чем в 1466 г., и между 1466 и 1518 гг. вышло 14 различных изданий Библии на немецком языке. Но нигде доступность Библии на родном языке не имела такого эффекта, как в Англии.

Причин для этого было несколько. Английская Библия появилась в контексте Реформации, для которой грамотность была, в сущности, религиозной добродетелью, необходимой для познания Бога, и ее требовала истинная вера. Движение в секулярной сфере – общее состояние постоянного перемещения в социальной структуре Англии и изменение отношения к образованию – позволило сделать грамотность достоянием более низких слоев населения. Грамотность была исключительно распространена в Англии XVI в., только самые низы социальной лестницы оставались неграмотными [59]. Поэтому англичане, в отличие от остальных народов, не удовлетворились тем, что Библия стала доступна на родном языке, а действительно стали ее читать. Большинство из них едва знали грамоту, и в первой половине XVI в. Библия была не просто книгой, которую все читали, а единственной книгой, которую они читали вообще. Именно комбинация этих факторов – удивительно широкой грамотности, ее легитимности и санкции на это принятого религиозного вероучения и исключительного положения Библии в этот ранний решающий период времени – и произвела этот эффект, который с первого взгляда может показаться исключительно следствием издания Библии на английском языке.

Чтение – занятие одинокое. Библию можно заучивать и молиться по ней коллективом, но читают ее в одиночку. И все же – это было Слово, Книга, открытая истина. И десятки тысяч едва грамотных простых людей смогли ее в первый раз действительно прочитать.

Более того, их побуждали к этому образованные облеченные властью личности, утверждавшие, что у простых людей есть и право, и способность общаться с Господом, и заявлявшие, что это и есть единственный путь в Царство Божие [60]. Именно благодаря чтению Библии, в народе Англии было укоренено и выпестовано новое – человеческое – чувство личного достоинства, которое моментально стало одной из самых дорогих вещей, более дорогих, чем сама жизнь. Это чувство стали ревниво защищать от посягательств. Подобный поворот событий был фундаментально важен. Он пробудил в многотысячном народе не только чувства, которые простые люди ни в какой другой стране раньше не испытывали, – он дал им такой взгляд на вещи, с помощью которого они могли иначе смотреть на общество в целом. А кроме того, он еще и открыл новую широкую область возможного влияния национальной идеи и сразу же невероятно увеличил количество потенциально к ней тянущихся. Ибо новоприобретенное чувство личного достоинства сделало массы англичан членами этого узкого круга новых аристократов и церковников, людей нового знания и новой религии, уже очарованных идеей народа как элиты и видящих самих себя частью этой элиты. Массы тоже стали считать свою английскость правом и гарантией нового статуса, до которого их возвысило самоуважение, и видели свои личные судьбы связанными с судьбой нации. В свою очередь, сознание принадлежности к английской нации, национальное самосознание, а простые англичане, благодаря чтению Библии, стали к нему исключительно восприимчивы, усиливало эффект от чтения и еще более укрепляло чувство личного достоинства и уважение к личности, следующие из этого чувства.

Мученичество и изгнанничество как катализаторы национального сознания

Когда совершается посягательство на чувство собственного достоинства и уважения к самому себе, как это произошло при Марии I Тюдор, то с этим шутить нельзя. И, частично, именно потому, что Мария I опрометчиво попыталась посягнуть на достоинство и самоуважение массы простых англичан, когда эти чувства у них уже были хорошо развиты, ее гонения имели результат, противоположный тому, которого она хотела достичь, и только еще усилили тенденции, против которых она боролась.

Свое прозвище (Кровавая) королева Мария получила за жестокое преследование протестантов. Согласно авторитетным оценкам, между февралем 1555 и ноябрем 1558 г. за неделю до ее смерти, 275 человек были обвинены в ереси и казнены [61]. В свете опыта XX в. и его склонности оперировать большими числами, царствование королевы Марии кажется отнюдь не столь «кровавым и ужасным», каким оно, очевидно, казалось ее современникам. Однако же гибель на костре 275 протестантов имела гораздо большее влияние на историю человечества, чем совершенно не сравнимые с нею зверства, включая Холокост, которые унесли в могилу больше людей, чем все тогдашнее население Англии.

И опять-таки влияние это было столь сильным из-за сочетания факторов, среди которых сожжение протестантов было не единственным. Само по себе вряд ли оно было так уж существенно. Другими словами, здесь мы снова имеем комбинированный эффект от одного конкретно взятого действия и исторических обстоятельств, при которых оно имело место. По причинам, относящимся к природе тех групп населения, которые Мария I дискриминировала, и в не малой степени благодаря тому, что правила она недолго, результатом ее гонений стала длительная идентификация протестантизма и национальной борьбы, очень укрепившая национализм. Эта идентификация и стала главным вкладом религии в развитие национализма.

Антипротестантская политика Марии I прямо затронула две группы. Одна принадлежала к новой элите. То были университетски образованные, хорошо устроенные люди, либо уже успевшие насладиться всеми преимуществами, которые им давало новое определение аристократии по образованию и способностям, либо надеявшиеся иметь эту возможность в будущем. Мария I этих людей отправила в отставку, и они были обмануты в своих ожиданиях, которые считали абсолютно обоснованными. Их обвинили в ереси – с их точки зрения это было невыносимым оскорблением. Их заставили страдать – что только укрепило их чувство нравственной правоты. Несколько сгоревших у столба мучеников и все изгнанники происходят из этого слоя. Другая группа, в которой было абсолютное большинство мучеников, состояла из простых людей (мужчин и женщин, ремесленников, торговцев, домохозяек), читавших Библию и заявлявших, что они ее понимают. Они под угрозой смерти не хотели отказываться от своего права на это. Первая группа вела идеологическую войну с режимом Марии I. В качестве главного оружия они использовали аргумент внутренней связи протестантизма и национальной борьбы. Когда Мария I скончалась, эта группа стала интеллектуальным и официальным лидером в новом царствовании и всеми силами старалась убедить весь мир в этой связи и сделать ее реальным фактом. Вторая группа, которая враждовала с королевой и ее духовенством из-за их отношения к английской Библии, негодующая и не желающая сдаваться, считала идеи и требования элиты очень привлекательными и создавала для них среду, в которой эти требования и идеи могли быстро укорениться.

Интересы двух групп, из которых выходили мученики и изгнанники во времена Марии Кровавой, – а эти группы на самом деле представляли собой не менее чем протестантскую элиту и рядовых протестантов, – совпадали. Для обеих групп (для каждой по-своему) глав-

ным было сохранить и иметь гарантию новоприобретенного статуса, личного человеческого достоинства и иметь беспрепятственную возможность быть тем и делать то, к чему, по их мнению, они были предназначены. Нельзя было ожидать, чтобы простые люди отчетливо выражали эти мысли, но мысли эти были для них главными, что ясно отражалось в модели поведения, которая вела к мученичеству. Поразительно осознавать, что причина, по которой эти люди спокойно и сознательно шли на ужасную смерть, состояла в том, что они были уверены в своей способности мыслить самостоятельно. Они не соглашались с тем, что, будучи простыми людьми и мирянами, они менее способны толковать Закон Божий, читать и понимать Библию, чем кто-либо другой, и отказывались признавать разницу между различными группами индивидуумов в этом фундаментальном отношении. Вопросы по догматам, на которые они должны были отвечать в процессе допроса, для них ничего не значили. Они не могли распознать их смысл и видели в них намеренные попытки загнать их в западню. Один из них, по имени Джордж Марш (сожженный в Честере в апреле 1555 года), «отказался отвечать на вопрос о пресуществлении», сказав своим следователям, что эти трудные вопросы они задают лишь для того «чтобы приговорить тело мое к смерти и высосать мою кровь». Цель истинной религии состояла в том, чтобы обеспечивать царство Закона Божьего в этом мире – так они считали. При чем здесь была тогда правомерность «богослужения на латыни»? «Ну и что из того, что мы – миряне? – такой вопрос задал допрашивающему его епископу Боннеру Роджер Холланд, лондонский портной и торговец. – Чем, как не Словом Божиим, должен руководствоваться юноша, выбирая свой жизненный путь? А вы хотите спрятать его от нас в незнакомом языке. Святой Павел, наверно бы, в своей церкви сказал пять слов так, чтоб его поняли, чем десять тысяч – на чужом языке» [62].

Мученики были людьми особого сорта: людьми, для которых их убеждения были дороже жизни. И они не могли ими поступиться, даже если в дополнение к жизни и свободе им сулили (как подмастерью Вильяму Хантеру) возможность завести собственное дело, даже когда свидетели умоляли их отречься от этих убеждений ради спасения собственной жизни. Свидетели, в отличие от мучеников, и были свидетелями потому, что они бы отреклись и отрекались. Но, когда они видели, как эти упрямые мужчины и женщины из их собственной среды, так на них похожие, шли на смерть, «не как воры или иные, заслуживающие смерти» [63], а как герои и святые, они не могли не идентифицировать себя с ними. Не могли не делить с ними – пусть косвенно и с гораздо меньшими потерями, но тем не менее делить – их мученичество. И вот 275 костров продолжали гореть в сердцах тысяч.

Более образованные и красноречивые среди гонимых протестантов тоже, хотя в их случае сознательно, избегали противоречивых вопросов доктрины и подчеркивали законность своей веры в Англии. Их протестантизм был не только выражением истинной веры, но также и того, что они были англичанами. Лондонские проповедники, обратившиеся в январе 1555 года к правительству Марии I с мольбой о прекращении гонений, говорили о себе как о «верных и усердных подданных», чьи действия соответствовали «во все времена Законам Господа и установлениям королевства» [64]. Допросы мучеников из элитной группы, образованных и, до своего падения, влиятельных людей – а к ним принадлежали такие личности, как епископ Латимер (Latimer), первым заговоривший о «Боге Англии», и архиепископ Кранмер, – были сосредоточены на проблеме законности и главенства папской власти, и поэтому в этих допросах вопросы доктрины связывали с проблемой английской политической независимости и национального интереса Англии. Таких мучеников было немного, но воздействие их мученичества на души было колоссальным. Воздействие это еще усиливалось из-за того, что ранее они занимали очень высокие посты, с невероятной ловкостью и достоинством парировали нападки своих судей и шли на смерть с поразительным мужеством и смелостью. Казни эти тщательно регистрировались и становились широко известными.

Идея, подразумевающая, что Англия как суверенная общность, связана с протестантской верой, не забывалась.

Жития мучеников были собраны и сохранены и впоследствии популяризованы изгнанниками – теми членами смещенной элиты, которым, к счастью, самим удалось избежать мученичества и собраться за границей. Будучи частью протестантской элиты, изгнанники симпатизировали идее «Англия» как суверенной организованной общности (государства), как империи. Они также принадлежали к слою, который первым развивал идею «нация», поскольку она служила его объективным интересам. Но каким бы ни было национальное чувство, которое они испытывали до изгнания, в нем оно увеличилось стократ.

Изгнание также привело к тому, что они стали акцентировать внимание на некоторых, ранее слабо артикулированных вещах, подразумеваемых национальной идентичностью. Новую, времен Генриха VIII, аристократию, к каковой принадлежали или надеялись принадлежать или из которой происходили изгнанники, идея «нация» привлекала с самого начала, потому что национальная идентичность делала каждого человека, обладавшего ею, членом элиты, и новые аристократы могли считать себя элитой *de facto*, хотя по рождению они к ней не принадлежали. Кроме того, данная идея превозносила патриотизм или службу нации как величайшую добродетель, а они явно были главным носителем этой добродетели. Идея «нация», то есть понятие народа определенной организованной общности (*polity*), государства как нации, подразумевала, что эта организованная общность уже является не вотчиной монарха, а общим достоянием («отечество»), общим и коллективным делом, в котором участвует много изначально равных партнеров. Монарх был представителем нации и получал свое право на управление от нее. Он не мог обращаться с нацией как со своей собственностью и царствовал не над территорией, а над элитой, исходя из общего интереса. До тех пор, пока монарх действительно правил исходя из общего блага, остальная часть нации должна была относиться к нему с благодарностью и подчиняться ему, но если доверие нации было предано, то монарх становился тираном и его можно было сместить. Глупо было бы на этом настаивать при Генрихе VIII или Эдуарде IV, да и нужды в том не было. Но при Марии I положение резко изменилось. Для нее Англия, на самом деле, была вотчиной, которой она желала управлять, в пользу интересов римской католической церкви. Таким образом, антимонархический посыл, заключенный в национальной идентичности следовало выразить словесно, чтобы защитить саму идентичность. Изгнанники подчеркивали возможность существования незаконных правителей, и, в результате, в оставленных ими произведениях нация впервые явным образом была отделена от короны и была представлена как главный объект преданности сама по себе. Джон Пойнет (John Poynt), бывший одно время епископом Винчестерским и умерший в изгнании в 1556 году, был автором одного из самых важных сочинений. В нем он писал: «Люди должны относиться с большим уважением к своей стране, чем к своему правителю, и к общему благу (достоянию), государству (*commonwealth*) – с большим уважением, чем к одной отдельно взятой личности. Ибо страна и общее благо находятся ступенью выше короля». «Короли и властители, – добавил он, – сколь бы велики они ни были, суть лишь отдельные личности, и государства могут вполне благополучно существовать и процветать, хотя бы и без королей» [65].

Английские изгнанники были не единственными, кто писал в это время антимонархические сочинения, но если они позволяли себе поддаваться влиянию чужих идей, то происходило это из-за того положения, в котором они оказались. Именно оно сделало их исключительно восприимчивыми к такому влиянию. Из-за своего положения в меняющейся английской социальной структуре, которая открывала столько возможностей для подобных людей, они увлеклись протестантизмом. Будучи протестантами, они могли вернуть утраченное положение только в случае, если бы Англия опять стала протестантской. Протестантизм в Англии был возможен только, если Англия стала бы империей. А империей она могла бы

быть (по крайней мере, они в это твердо верили), если бы она была нацией. Власть Марии I была вдвойне незаконной, поскольку она была и антинациональной и антипротестантской.

Именно поэтому во время короткого и безрадостного царствования королевы Марии I и во многом благодаря ее кровавому и ужасному правлению, борьба протестантов и борьба национальная стали тесно связаны между собой и даже переплелись друг с другом. В следующей половине столетия фактически было невозможно отделить одну от другой. Тем не менее во время самого царствования Марии I в умах масс национальное чувство явно доминировало над религиозным. Уже при Генрихе VIII венецианский посол Mishele отметил в отчете своему правительству, что англичане «будут ярыми последователями магометанской или иудейской веры, ежели их король будет исповедовать ту или иную, или прикажет им сделать это». Изменения доктрины, как при Генрихе VIII, так и при последующих королях, не привнесли ничего в религиозное рвение мирского населения, а, скорее, подорвали его остатки [66]. Рваческая политика протестантского протектората при Эдуарде привела к тому, что протестантизм стал ассоциироваться с коррумпированным правительством, так что в результате истовая католичка Мария I была действительно возведена на трон как «народная избранница» [67]. Большинство ее подданных восприняли возвращение к «святейшей католической вере» спокойно, если и не с облегчением; раскаявшись, если надо, без чрезмерной внутренней борьбы [68]. При Марии I палату общин характеризовали как «католическую по духу» [69]. Когда люди шли на свое мученичество, остальные англичане смотрели на это – правда, без всякого удовольствия, – но скорее потому, что они восхищались и симпатизировали лично этим людям, чем потому, что верили в незаконность гонений на протестантов за ересь. Поэтому народных протестов против сожжений не было. Совершенно очевидно, что отсутствие такового протеста никак не может быть отнесено за счет страха или неспособности населения к тому, чтобы его высказать, потому что в других случаях население протестовало очень определенно.

Восстание под предводительством Уайета (Wyatt) было прямым следствием отказа Марии I согласиться на петицию палаты общин от 16 ноября 1553 года и выйти замуж за англичанина, и ее настоятельного желания обвенчаться с королем Филиппом II Испанским. Призывы вождей восставших к тем, кого они пытались подстрекать и привлекать на свою сторону, вряд ли дают повод усомниться в национальной природе их восстания. «Ибо вы – наши друзья, – сказал Уайет. – Ибо вы – англичане. По сей причине, вы присоединитесь к нам, как и мы к вам и в самой смерти». «Религия не была причиной этого мятежа», – заявил близкий друг Уайета, который защищал его действия в 90-е годы XVI в., и Уайет сам наставлял своего сторонника-протестанта: «Вам не следует упоминать о религии, ибо это отвлечет от нас многие сердца». Из этого наставления очевидно, что он рассматривал религию скорее как разъединяющую, чем как объединяющую силу, и (что важнее) ожидалось, что национальная преданность и лояльность могли не зависеть и уже не зависели от конфессиональной принадлежности. Пять сотен лондонцев, посланных подавить восстание, перешли на сторону мятежников с криками: «Мы все – англичане!» Потенциальная опасность национальных призывов для режима Марии I была совершенно ясной. Мария I попыталась принизить национальный момент в восстании и представить его как еретический, религиозный бунт, для которого «вопрос о браке был всего лишь испанским плащом, чтобы прикрыть истинную сего бунта цель». Одновременно она постаралась умиротворить население, пообещав последовать совету парламента и выйти замуж за своего соотечественника. Несмотря на это, Уайет пошел на Лондон, население Лондона не решилось его поддержать, и хотя мятеж был в конце концов, подавлен, «Уайет подошел к тому, чтобы скинуть монарха с трона, ближе, чем какой-либо иной мятежник при Тюдорах» [70]. Тот факт, что этот явно национальный бунт имел в XVI в. какой-то отклик, в том веке, где можно было ожидать почти всеобщую апатию и безразличие к политическим делам, где среди населения был широко

распространен страх перед восстаниями любого рода, кажется гораздо более важным, чем тот факт, что сей отклик был не столь уж значителен и восстание потерпело неудачу. Равно замечательным является отсутствие в этом мятеже религиозного момента. В конце концов, год-то был 1554.

Англия как богоизбранный народ и знак Его любви

Случилось так, что надежды опальных изгнанников оправдались, когда на трон взошла преемница Марии I, принцесса-протестантка Елизавета. Когда изгнанники вернулись и заняли ведущие посты при новом режиме, они приложили все свои силы, чтобы доказать, что связь между существованием Англии как нации и протестантской верой нерасторжима, и сделали все, чтобы она таковой и оставалась. В 1559 г. будущий епископ Лондонский Джон Эйлмер (John Aylmer) подхватил как знамя поразительное заявление епископа Латимера, что у Бога есть национальность. В удивительном отрывке из *Harborowe of True and Faithful Subjects* он заявил, что «Господь – англичанин» и призвал своих соотечественников благодарить Его по семь раз на дню за то, что Он создал их англичанами, а не итальянцами, французами или немцами. Англия была не только «землей, богатой и обильной говядиной, бараниной, маслом, сыром и яйцами, пивом и элем, не считая шерсти, свинца, сукна и кожи», но еще и «Господь со своими ангелами сражался на ее стороне против ее чужеземных врагов». «Ибо вы сражаетесь не только во имя своей страны, – напоминал он своим соотечественникам, – но также, и главным образом, ради Его истинной веры и его возлюбленного сына – Христа» [71].

Возвращающиеся изгнанники не ограничивались всего лишь красноречием. Архиепископ Кентерберийский Мэтью Паркер (Matthew Parker) давал деньги и активно помогал исследованиям и публикациям в области английской истории и старины [72]. Из этих исследований должно было бы следовать, что христианство в Англии всегда носило ярко выраженный характер, ибо англиканская церковь есть истинно апостольская церковь. Помимо того, что он был главным издателем *Bishops' Bible*, собрал ценную коллекцию исторических документов, рукописей и книг, завещанную им Кембриджскому колледжу *Corpus Cristi*, и опубликовал историю становления британского христианства, Паркер еще покровительствовал нескольким широко известным авторам хроник, среди которых был автор «Книги Мучеников» (Мартиролога) – Джон Фокс.

«Книга Мучеников» – это народное, краткое название монументального труда Фокса «Акты и памятные события тех последних, гибельных времен, касающиеся дел церкви, где собраны и описаны все гонения и ужасные беды, чинимые и практикуемые тогда Римскими прелатами в королевстве Английском и Шотландском особо, в годы от сотворения с тысячного и по сей день. Собрано и отобрано согласно истинным отчетам и сочинениям пострадавших сторон, а также и из Книг Записей Епископов, которые их сами совершали» [73]. Верная своему названию, книга представляла собой самый полный, мастерский и обстоятельный отчет о страданиях мучеников при режиме Марии I – великих и простых людей в равной мере. Эти страдания были представлены как еще одно выражение, самое недавнее и очевидное, того, что Англия верна истинной религии, за которую она много раз страдала в прошлом и которую она многожды была призвана защищать от безбожных чужеземных посягательств. Идейный посыл книги состоял в том, что Англия находясь в согласии с Господом, оставалась верной истинной религии в прошлом и теперь вела мир к Реформации, ибо Англия была отмечена Богом. Быть англичанином фактически означало быть истинным христианином, английский народ был избран, выделен из остальных и отмечен Богом, сила и слава Англии была в интересах Его церкви, и победа Реформации была национальной победой. Такая идентификация Реформации с английскостью привела к тому, что папство стало считаться главным национальным врагом, а это подразумевало исключение английских католиков из членства в нации. Хотя эта мысль никогда не высказывалась открыто. Как бы критичен ни был Фокс относительно поведения своих соотечественников-папистов, в своей эпистоле он призывал всех своих читателей объединиться во имя служения нации.

В ней слышна отчетливо примирительная нота. «Тех, кто заблуждается, – писал он, – не будем лишать возможности встать на путь истинный. ...Поскольку Господь так поставил нас, англичан жить здесь в одном государстве (common wealth), а также в одной церкви, как на одном корабле – вместе, не будем же рубить или делить корабль, который, если его разделить, погибнет. Пусть каждый человек служит с усердием и благоразумием там, куда он призван» [74].

Статус книги Фокса и то влияние, которое ей было позволено оказать на умы англичан в XVI и XVII вв., были гораздо большими, чем у любой другой книги той поры. Их можно было сравнить только со статусом и влиянием Библии. В течение жизни Фокса эта книга переиздавалась шесть раз (в 1554, 1559, 1563, 1570, 1576 и 1583 гг.). После смерти автора ее переиздавали еще четыре раза (в 1596, 1620, 1632 гг. и, что важно, в 1641 г.). В 1570 г. «эту полную и совершенную историю», по приказу мэра и Лондонского совета (корпорации), читали во всех домах призрения и помещениях городских мануфактур, а в 1571 г. синод издал указ, чтобы эта книга, наравне с Библией, имелась в свободном доступе для населения в кафедральных церквях и резиденциях епископов, архиепископов, архидьяконов и деканов [75]. В 1577 г., согласно Уильяму Харрисону (William Harrison), «в любом помещении (при королевском дворе) имелись либо Библия, либо книга актов и памятных событий англиканской церкви, либо и то, и другое, а кроме этого, хроники и летописи [76]. Популярность «Книги Мучеников» была невероятной, а ее авторитет – непререкаемым. «Знаменитый капитан Сэр Френсис Дрейк (Francis Drake) брал ее с собой в море и раскрашивал в ней иллюстрации» [77]. И даже автор *Principal Navigations ... of the English Nation*, Ричард Хаклюйт (Richard Hakluyt), который, благодаря своему довольно специфическому предмету исследований, «(по правде говоря) ... имел более просвещенный взгляд на вещи в некоторых отношениях, чем все наши исторические книги могли мне предложить», считал Фокса исключением [78].

Книга сводилась к ярко выраженному утверждению идентичности английских национальных и протестантских интересов. На некоторое время англиканская религия и национальность стали одним и тем же. Ричард Хукер (Richard Hooker), апологет англиканской церкви, в такой значительной книге как *The Laws of Ecclesiastical Polity*, писал: «Мы знаем, что не существует ни единого человека, принадлежащего к англиканской вере, который не был бы членом Commonwealth, и нет ни одного человека, члена Commonwealth, который бы не принадлежал одновременно к англиканской церкви... хотя качества и действия одного рода носят имя Commonwealth, а черты и функции другого вида – имя церкви» [79]. Если спуститься на землю, то пример недавних мучеников, людей, которые практически ничем от других не отличались, не мог не убеждать население, что буде этот урок забыт, то их судьбу могут разделить и остальные.

Именно английская религиозная позиция стала фундаментом национальной особенности и исключительности. Божественное благоволение и вера в Англию были видны во всем. Явно не было никакой другой причины для столь очевидных примеров английского процветания, как победа над Армадой [80], или постоянно хорошее состояние здоровья Елизаветы I, или стабильное правительство, которое повергало в прах все интриги ее врагов. Соответственно, эти примеры интерпретировались как знак божественного вмешательства. Подобная интерпретация событий имела место в массе популярной литературе того времени. Избранная Господом, Англия постоянно находилась в центре Его внимания и, находясь в безопасности под покровом божественной поддержки, пока она оставалась верной своему договору с Господом, одновременно могла быть уверенной в том, что ее накажут, в тот самый момент, когда она расслабится. Национальное существование Англии зависело от ее религиозного рвения. Роджер Коттон (Roger Cotton) сделал этот вывод в стихотворной форме, в труде, озаглавленном *The Armour of Proove, brought from the Tower of Dauid*.

If this be true, that all God's trueth we holde,
What neede we then of Spayne to be afrayede?
For God, I say, hath neuer yet such solde
To sworde of foe; but still hath sent them ayde,
The trueth we haue, yet therein walke not wee;
Where oftimes God hisseth for a bee...
O Englande, then consider well thy state;
Oft read God's worde, and let it beate chiefe sway
Within thy hart: or els thou canst not scape
The wrath of God; for he will surely pay...
Remember then thy former loue and zeale,
Which thou to God and to his worde didst beare,
And let them now agayne with thee preuale:
And so no force of forrayne shalt thou beare [81].

Коль истинно, что мы храним всю истину Господню,
К чему ж Испании тогда бояться нам?
Ибо Господь вовек не отдавал сей дар
Мечу врага; хоть помощь слал ему...
О, Англия, помысли о себе, и чаще
Читай Господне слово, пусть главну власть оно
Над твоим сердцем возымеет, а иначе
Не избежать тебе Господня гнева; ибо Бог,
Конечно же, тогда тебя накажет...
Вспомни же бывшее рвенье и любовь,
С которыми ты Господу служила,
И слову Господа; пускай они опять в тебе возобладают:
И отныне пред мощью чужеземной ты не склонишься никогда.

Национальная идентичность предполагала совершенно новый набор обязательств, которые бы отделяли Англию от всего остального мира. Но в то время существование автономного единства, подобного нации, не было самоочевидным. Оно было сомнительным и требовало утверждения и осмысления в знакомых терминах. Таким образом, было бы только естественным, если бы в эпоху, когда религия была центром любой сферы общественной жизни, зарождающийся национализм облекался в религиозный идиом. Более того, благодаря связи Реформации с английской национальной идентичностью, протестантизм не только снабдил языком все еще безгласный национализм, но и обеспечил его убежищем и защитой, в которых он нуждался для созревания. Короче говоря, хотя нельзя сказать, что протестантизм породил английскую нацию, он действительно сыграл очень важную роль акушерки, без которой ребенок мог бы и не родиться.

Именно благодаря связи протестантизма и национализма, главным фактором в развитии национального сознания, также опять стала монархия. Завершающим житием в «Книге Мучеников» стало житие Елизаветы I, ставшей символом связи и тождества протестантской и национальной борьбы. Протестантизм и национализм были объединены в ее персоне. Фокс был не единственным или первым из вернувшихся изгнанников, кто придерживался подобных взглядов, но через его книгу эта точка зрения стала известна народу.

Степень и широта восхваления Елизаветы I заставляют поморщиться многих современных исследователей XVI в. Эти исследователи раздражаются и стыдятся того, что в свете сегодняшнего равенства выглядит недостойным и отвратительным лицемерием [82]. И не удается им увидеть, что, восхваляя Елизавету I, эти, казалось бы, лицемерные англичане на самом деле выражали растущее уважение к себе. Елизавета I была знаком божественного признания национальной добродетели, избранности английского народа. Слова Джона Джуела (John Jewel), который написал: «Когда Господу стало угодно дать нам свое благословение, Он дал нам свою служанку Елизавету, чтобы быть нашей Королевой и орудием Его Славы перед всем миром», могли бы считаться «самым полным и самым замечательным выражением» этой веры [83]. Но этот довод пользовался благосклонностью многих писателей. В книге, озаглавленной *A Progress of Piety*, Джон Норден (John Norden), один из незначительных авторов образовательных и религиозных сочинений для простого народа, и мирянин, включил нижеследующую *Jubilant Praise for Her Majesty's most Gracious Government*, в которой он благодарил Господа за то, что он дал Англии Елизавету.

Rejoice, O England blest!
Forget thee not to sing
Sing out her praise, that brought thee rest
From God thy mighty King!
Our God and mighty King
Our comforts hath renewed
Elizabeth, our Queen, did bring
His word with peace endu'd...
She brings it from his hand;
His counsel did decree,
That she, a Hester in this land,
Should set his children free.
None ruleth here but she;
Her heavenly guide doth shew
How all things should decreed be
To comfort high and low.
Oh, sing then, high and low!
Give praise unto the Ring
That made her queen: none but a foe
But will her praises sing/
All praises let us sing
To King of kings above
Who sent Elizabeth to bring
So sweet a taste of love [84].

Возрадуйся, о Англия благословенна!
И не забудь воспеть:
Воспеть хвалу той, что даровала тебе покой,
По воле Господа, твоего всемогущего Повелителя!
Наш Господь и всемогущий Повелитель
Возродил наше благоденствие,
Несет Елизавета, королева наша,
Слово Его, дышащее миром...

Его Длань над ней;
Его Слово провозглашает,
Что в этой земле она – Эсфирь,
Должна освободить Его детей.
Никому здесь не владычествовать, кроме нее;
Ее Небесный пастырь показал ей
Как должно устроить все вещи
Для благоденствия и знатных, и ничтожных.
Так воспойте же, и знатные и ничтожные,
Хвалу тому Кольцу¹⁰,
Что сделало ее королевой: все,
Кроме врагов, да воспоют ей хвалу.
Давайте же возблагодарим Царя Царей
На небеси за то, что он послал нам Елизавету,
Принесшую столь сладостный вкус любви.

В этом стихотворении демонстрируется тройная идентификация нации, благочестия и королевы. Обратите внимание, что Бога восхваляют за то, что он был добр к Англии, дав ей Елизавету как знак своего признания и особого благоволения. Но ни Господа, ни Елизавету не восхваляют самих по себе! И религиозные чувства англичан в конце XVI в., и их преданность своей королеве, несомненно, были национальны.

Джон Филлип (John Phillip), в строфах из *A friendly Larum, or faythfull warnynge to the truehearted subjects of England*, обратился к Господу со следующей просьбой:

Our realme and Queen defend, dere God
With hart and minde I praie;
That by thy aide hir grace may keepe
The papists from their daie.
Hir health, hir wealth, and vitall race,
In mercy longe increase;
And graunt that ciuill warre and strife
in England still may cease [85].

Страну и королеву нашу, О Боже, защити,
И сердцем, и душой (духом) своей, молю;
Чтоб с помощью твоей ее благодать
Не дала папистам победить.
Чтоб здравие, богатство и жизненные силы ея
Преумножались в длительном счастье;
И сделай так, чтобы гражданская война и раздоры
В Англии прекратились.

Таким образом, Бога молят оказать благоволение Елизавете с тем, чтобы она могла служить Англии.

Елизавету I воспринимали как символ избранности Англии в очах Божьих. «Она была золотой свирелью, чрез кою великий Бог передавал всем свои благословения: Она была зна-

¹⁰ Имеется в виду ее обручение с Господом. – *Прим. пер.*

ком Его нежной любви» [86]. Но тем не менее в ретроспективе эту божественную королеву помнили из-за ее поразительно мирских достижений, достижений, по природе своей политических и увеличивавших славу Англии в этом мире. Когда Майкл Дрейтон (Michael Drayton) описывал ее царствование в *Poly-Olbion*, то ему пришлось сказать следующее:

Elizabeth, the next, this falling Scepter hent;
Disgressing from her Sex, with Man-like government
This Island kept in awe, and did her power extend
Afflicted France to ayde, her owne as to defend
Against the 'Iberian rule, the Flemmings sure defence:
Rude Ireland's deadly scourge; who sent her Navies hence
Unto the Either Inde, and so to that shire so greene,
Virginia which we call, of her a virgin Queen:
In Portugal gainst Spaine, her English ensignes spread;
Took Cales when from her ayde the brav'd Iberia fled.
Most flourishing in State: that all our kings among,
Scarce any rul'd so well: but two that reigned so long. [87].

Елизавета, следом, подхватила сей скипетр падающий,
И отринув суть женскую свою, сей остров
По-мужски в повиновении держала, своюю
Властию пришла на помощь страдающим французам,
Собственной ж державе была защитой от господства
Иберии (Испании), сопротивленья фламандского и
От смертельной угрозы Ирландских хамов, послала
Она свой флот в другой конец земли, к тому зеленому
Краю, что в честь нее *Виргиньей*¹¹ нарекли;
В Португалии против Испании, ее флот сражался;
Был взят Кале, когда от войск ее бежала
Испанья храбрая. Сама она и государство наше столь
Процветает, что из наших государей, навряд ли кто
Так правил счастливо – и только два так долго.

Подобно своему отцу Генриху VIII, Елизавета сама, возможно, и не была националисткой, но, как и он, исходя из собственных интересов, признавала и поддерживала растущее национальное чувство [88]. И действительно, безо всяких усилий со своей стороны она сослужила ему ценнейшую службу. Ибо в течение почти полувека национальное чувство фокусировалось на персоне королевы-девственницы как на главном объекте. Елизавета была символом величия и уникальности Англии. Этим объясняется поразительное спокойствие ее режима, который при ретроспективном анализе предстает фундаментально нестабильным; главный мотив того времени – патриотизм – стал тождественен преданности правящей монархине и это гарантировало усердную заботу о сохранении ее царствования. Связь национального чувства с особой королевы ослабила и замедлила развитие демократических тенденций английского национализма. Во времена Елизаветы I парламент, по большей части, предпочитал не выдвигать требований насчет равной доли в управлении государством или, по крайней мере, выдвигал эти требования не в агрессивной манере. В то же самое время

¹¹ *Virgin* – девственный, прозвище Елизаветы. – *Прим. пер.*

удачная гармония и единство интересов короны и нации, которой эта корона управляла, гармония и единство интересов между старым и новым, та поддержка, которую старый порядок оказывал возникающему новому, позволили вызреть национальному сознанию. То же самое делал и протестантизм. Национальное сознание стало широко распространенным и законным. К концу века это мировоззрение явилось могущественной силой с собственным импульсом. Национальному позволили укорениться в английской культуре и вырвать его оттуда было уже нельзя. Роль Елизаветы I в таком развитии событий состояла в том, что она дала официальное подтверждение английской национальной идентичности, и в немалой степени благодаря этому к концу XVI в. Англия действительно уже обладала полностью развитым национализмом и вошла в современную эру.

Ведутся споры о том, эти ли именно отношения предвещали и способствовали развитию английской национальной идентичности, говорится о том, что возникающая идентичность была религиозной, протестантской скорее, чем национальной [89]. Однако этот довод покоится на непонимании природы национализма и на ошибочном отождествлении национальной идентичности с этнической принадлежностью. Английский национализм в те времена, безусловно, не определялся в этнических терминах. Его определяли на языке религиозных и политических ценностей, которые сходились в одну точку в разумной – и потому имеющей право на свободу и равенство – личности. Диссидентский характер Реформации и соответствие английской протестантской теологии ценностям рационалистического (разумного) индивидуализма сделали протестантизм прекрасным союзником зарождающегося национального чувства. Благодаря уникальным историческим обстоятельствам, особенно связанным с царствованием Марии I, религия и национальное чувство стали идентифицироваться друг с другом. Поэтому английская нация была нацией протестантской. Главное, что следует в этом случае понять, – что именно существительное, а не прилагательное здесь и составляет всю разницу. Протестантская или нет, но Англия была **нацией**. Она была нацией, потому что народ символически был поднят до положения элиты, и это возвышение создало новый тип коллективности (collectivity) и социальной структуры, не похожей ни на какую-либо другую, и новую, для того времени особенную, идентичность.

К концу XVI в. секулярная нация завоевала преданность уже очень большого и все увеличивающегося количества англичан, а религия все больше отодвигалась на периферию. Те, кто жил в то время, этот факт осознавали, хотя мы не должны преуменьшать степень трудности, которая требовалась, чтобы отделить нацию от религии в ту пору. Ричард Кромптон (Richard Crompton) в 1599 году писал: «Хотя мы и различаемся по нашей религии... но все же я верю, что мы со всей преданностью и повинуюсь долгу... объединимся во имя защиты нашего Повелителя и нашей страны против врага». Сэр Уолтер Рэли (Вальтер Ралей, Walter Raleigh) возвал ко всем англичанам «без различий в вероисповедании» присоединиться к нему в войне против Испании, в которой, как писал другой его современник, люди умирали «со спокойной и легкой душой, отдав ... жизнь, как те, что сражались за свою¹² страну, королеву, религию и честь» [90]. В сборнике поэзии, посвященной Елизавете I, о котором мы уже упоминали, можно найти следующий диалог между римским католиком и сторонником реформистской религии, озаглавленный «Ответ на Римские стихи» поэта Дж. Родса (J. Rhodes). В нем протестант на доступном языке, но очень ловко парирует все доктринальные измышления своего противника, несомненно, доказывая более высокую разумность своей собственной позиции. Среди прочих, почти неопровержимых доводов, он говорит следующее:

Our bibles teach all truth indeede

¹² Обратите внимание на порядок слов. – Прим. автора.

Which every Christian ought to reede:
But Papists thereto will say nay;
Because their deedes it doth bewray
Christ, he the twelue apostles sent;
But who gaue you commandement
to winne and gather anywhere?
To bind by othe, to vowe, and sweare
New prosylytes to Popery,
Gainst trueth, our prince, and countrey? [91].

Наши библии на самом деле учат всей той истине,
Которую следует читать каждому христианину,
Но паписты говорят этому «нет»,
Потому что это срывает маску с их дел.
Христос послал всего двенадцать апостолов,
А кто дал вам заповедь везде скопляться
и пытаться Власть захватить?
Склонять к клятве папству новых прозелитов,
Против правды, государя и Родины?

Здравому смыслу явно противоречило, что истинная религия может подразумевать что-либо столь unparticularistic (непатриотичное).

Звук их голосов

То ли потому, что англичане были уверены в своей богоизбранности, то ли благодаря тому, что еще большее количество людей стало теперь приверженцами идеи «Англия» как нации, но национальное чувство в эпоху Елизаветы I утверждалось с большей мощью и пылом, чем в какое-либо иное время. Этим чувством были проникнуты церковные богослужения, которые продолжали, хотя более открыто и упорно, традицию Книги Мучеников. Оно также было выражено в светской английской литературе – новый решительный поворот событий, заложивший основы современной английской культуры. В современной истории литературы стало уже общим местом, отмечать замечательный, поразительный по своей вездесущести и напору, национализм литературы Елизаветинской эпохи. Однако же, национализм этот не удивителен. Светская (секулярная) литература на родном языке была ярчайшим выражением национального сознания и идентичности, которые возникли в Англии. Прежде безымянные, бесформенные, новые чувства людей «опьяненных звуком своих собственных голосов» обрели письменную форму [92]. Это был первый выразительный акт национального самоутверждения.

Елизаветинцы имели целью исполнить культурные ожидания первых националистов при Генрихе. Возник целый новый класс людей, чьим главным занятием было исследовать и писать – хроники, трактаты, поэмы, романы и пьесы – на английском языке, об Англии. К этому классу авторов могли принадлежать как выходцы из пэров, так и из простых людей, в нем были англичане из любых слоев населения, за исключением самого низшего слоя: сельской и городской бедноты [93].

Все английское стало объектом внимания и питало новое чувство национальной гордости. Было создано Общество любителей старины. Холинshed (Holinshed), Уорнер (Warner), Камден (Camden) и другие писали общие истории Англии и истории отдельных эпох. Драматурги – Шекспир и Марло в их числе – писали драмы о событиях национальной истории. Первые романисты, такие как Нэш (Nash), Лилли (Lyly) и Делони (Deloney), и такие писатели, как Уильям Гаррисон (William Harrison) и Сэр Томас Смит (Thomas Smith) сконцентрировали свое внимание на английском образе жизни. Майкл Дрейтон в *Poly-Olbion* славил землю Англии и ее реки, начинание, которое не оставило равнодушным также и Спенсера. Новое чувство патриотической любви выросло в страсть, и страсть эта обильно и с глубоким лиризмом изливалась в стихах. В былые времена с подобным лиризмом писали только об интимных личных отношениях. «Тот край благословенный, ту страну, то королевство, ту Англию... тот край таких драгих мне душ, о милый, милый край» превозносили на всех уровнях [94]. «Благословенный край» вдохновлял создателей многих замечательных произведений искусства, так же как и авторов литературных опусов, имевших небольшую эстетическую, но солидную документальную ценность.

Расцвет творчества в культуре Англии в XVI и начале XVII вв. был совершенно беспрецедентным и внезапным, и те, кто был к нему причастен, это полностью осознавали. До них мало что можно было сказать о литературе на английском языке. Многочисленные литературные обзоры, написанные первоисследователями XVI в., это признавали. «Первый из наших английских поэтов, о которых я слышал, – писал в 1586 г. Уильям Вебб (William Webbe), – был Джон Гауэр (Гоуэр, John Gower)... Чосер был следующим за ним, но современником Гауэру не был... потом Лидгейт (Lydgate)... С тех пор я не слышал ни о ком до Скелтона (Skelton), писавшего в эпоху короля Генриха VIII» [95].

Но это их не пугало. Они закладывали фундамент национальной культуры, то, что они понимали свою благородную роль, усиливало их ощущение собственной значимости. «Мы, Зачинатели, – писал Габриель Гарвей (Gabriel Harvey) в письме к Спенсеру, – имеем пре-

имущество перед нашими последователями, которые должны будут согласовываться с тем, и подчинять свои примеры и проповеди тому, что написали мы, подобно тому, как, несомненно, Гомер или кто-либо другой из греков, и Энний, и не знаю, кто еще из римлян, превосходили и умаляли тех, кто следовал за ними» [96]. Кроме того, культура, ими создаваемая, имела отчетливые признаки гениальности, и ей предназначено было стать величайшей. Английские писатели XVI в. в это верили и неустанно это повторяли. В навигации «исследуя самые противоположные концы и уголки земли, и прямо говоря, не однажды избородив всю землю вдоль и поперек», – считал Ричард Хакльют в 1589 году, англичане «превзошли все нации и народы на земле». Сэр Уолтер Рэли заявлял, что англичане гораздо более человечны, чем испанцы; Уильям Гаррисон, – что английское духовенство считается самым образованным. Немногом позже, Генри Пичем (Henry Peacham) в *The Complete Gentleman* защищал английских композиторов, которые, как он утверждал, были «ничуть не хуже никого в мире по глубине таланта и богатству замысла». Он также считал, что то же самое можно сказать про английскую геральдику [97].

Но главную хвалу в XVI в. изливали на английских писателей. В основном ею был удостоен Чосер, которого благодарные соотечественники называли «наш отец Чосер», «наш достойнейший Чосер», «благородный Чосер». Трех древних Мастеров – среди которых Чосер был самым знаменитым и почитаемым – сравнивали с великими мастерами античности. Френсис Мерес (Francis Meres) писал в 1598 г. в *Comparative Discourse of Our English Poets with the Greek, Latin, and Italian Poets*: «Так же, как у греков есть три поэта великой античности – Орфей, Линея и Мусей, а у итальянцев есть три других поэта древности – Ливий Андроник, Энний и Плотин, так же и у Англии есть три поэта древности – Чосер, Гауэр и Лидгейт». «Английским итальянцам», говорившим о «Петрарке, Тассо, Цельяно и бесчисленном количестве других», Томас Нэш противопоставлял Чосера, Лидгейта и Гауэра. «Я уверен в одной вещи, – писал он, – что каждый из этих трех с такой же гордостью и восхищением писали свои произведения на английском, с какой надменнейший Ариост когда-либо писал на итальянском». Сэр Филип Сидни (Philip Sidney) проводил такую же параллель: «Так, у римлян были Ливий (sic), Андроник и Энний. Так, в итальянском языке, что и дало ему право претендовать на звание Сокровищницы Науки, были поэты Данте, Боккаччо и Петрарка. Так, в нашем английском языке были Гауэр и Чосер» [98].

Писателей современников восхваляли с не меньшим энтузиазмом. Количество панегириков – в некотором отношении поэты пели панегирики сами себе – не поддается исчислению. Упоминали «быстрого умом, соотечественника нашего сэра Томаса Мора», «чудо нашего времени, сэра Филипа Сидни», «нашего знаменитого английского поэта Спенсера» – «божественного мастера, чудо разума», которого Томас Нэш поставил бы в «один ряд с теми, кто отстаивал честь Англии перед Испанией, Францией, Италией и всем миром»; говорили о «нашем английском Гомере» – Уорнере и о «медоречивом Шекспире», чей «полногласный язык» наверное использовался бы музами, говори они по-английски [99].

Сам английский язык стал объектом страстного поклонения. Его любили как «наш родной язык», но культивировали его за то, что он мог дать становлению нации, в качестве «нашей самой главной славы». Не существовало ничего, чего нельзя было достичь или выразить на «столь богатом и свободном языке, каковым является наш английский язык». Некоторые заявляли, что он во всем равен другим «главным и знаменитым» языкам: таким, как иврит, греческий, латынь, итальянский, испанский и французский. Майкл Дрейтон в стихотворении из *England's Heroic Epistles* (1598) писал:

Though to the Thuscans I the smoothness grant
Our dialect no majesty doth want
To set thy praises in as high a key

As France, or Spain, or Germany, or they. [100].

Хотя тосканцы благозвучностью сильны,
Величия в наречьи нашем достает,
Чтоб петь на нем хвалы, в таком же стиле
Высоком, как Франция, Испанья, или
Германия и сами итальянцы.

Однако большинство считало, что английский намного превосходит другие языки. Непревзойденным образцом такого мнения остается *Epistle on the Excellency of the English Tongue* (1595–1596) Ричарда Кэрю (Richard Carew). Кэрю написал эту эпистолау «взыска той хвалы, которую мог бы я воздать нашему английскому языку, как это сделал Стефаний – для французского языка, и прочие – для своих родных языков». Хвалить английский язык, как он обнаружил, было за что: он был богаче, чем остальные, «поскольку мы заимствовали (и это – не позорно) из голландского, бретонского, романского, датского, французского, итальянского и испанского языков, как может наш язык не превосходить их по богатству?» И, отдавая должное другим языкам, или, скажем, считая так, Кэрю находил, что английский был еще и сладкозвучнее, чем все остальные языки:

«Италийский язык – благозвучен, но не имеет мускульной силы, как лениво-спокойная вода, французский – изящен, но слишком мил, как женщина, которая едва осмеливается открыть рот, боясь испортить свое выражение лица, испанский – величествен, но неискренен, в нем слишком много О, и он ужасен, как дьявольские козни, голландский – мужествен, но очень груб, как некто, все время нарывающийся на ссору. Мы же, заимствуя у каждого из них, взяли силу согласных италийских, полнозвучность слов французских, разнообразие окончаний испанских и умиротворяющее большее количество гласных из голландского; итак, мы (как пчелы) собираем мед с лучших лугов, оставляя худшее без внимания. Посему, совмещая в себе мощь и приятственность, полнозвучие и изящество, величавость и красоту, подвижность и устойчивость, как может язык, имеющий такую звучность быть каким-либо иным, нежели чем самым наилучшим» [101].

Такому изумительному языку самой судьбой было предназначено сыграть большую роль в мировой культуре. Сэмьюэл Дэниел (Samuel Daniel) высказал эту провидческую мысль, разделяемую многими, в «*Musophilus*»:

Who in time, knows whither we may vent
The treasure of our tongue, to what strange shores
This gaine of our best glory shall be sent
T'inrich vnknowing Nations with our stores?
What worlds in th'yet vnformed Occident
May come refin'd with, th'accents that are ours [102]

Кто во время оно будет знать, где расточим мы
Сокровище английской речи (языка), к каким чужим брегам
Се достоянье лучшей нашей славы пребудет послано,
Чтобы безвестные народы обогатились нашим изобильем?
Миры какие, в том, не сформировавшемся доселе Западе,
Усовершенствуются, быть может, нашим языком?

Считалось, что властители, знать, страна и человечество в целом должно быть признательно литераторам за их писательский труд. Франсис Мерес полагал, что Елизавета I, спенсеровская Королева Фей, «имела преимущество перед всеми королевами мира, поскольку была воспета таким божественным поэтом». Эшем был уверен, что изучение трудов Томаса Элиота «во всех областях знания принесет большой почет всему дворянству английскому». Бен Джонсон восхищался Камденом в следующих строках:

Camden, most reverend head...
to whom my country owes
The great renown and name wherewith she goes.

Камден, ум достойнейший,
Кому моя страна обязана
Великой славой и именем, с чьей помощью
Она идет вперед.

А Пичем, говоря о Роберте Коттоне, заявлял, что «не только Британия, но и сама Европа должна воздать должное его трудам, расходам и любви, с которой он собрал столь много редких рукописей и других ценных памятников старины» [103].

Выражая чувство собственного достоинства англичан и чувство национальной гордости, копившееся в течение предыдущих десятилетий, эта литература одновременно развивала и распространяла эти чувства. Она дала форму и таким образом установила новое измерение опыта; как ранее религия, она предлагала язык, на котором национальное чувство могло себя выразить. В этом случае это был собственный язык национализма, не менее внятный, но отличный от языка религии. Итак, это стало еще одним, возможно последним событием в длинной цепи развития событий, которые все вместе привели к тому, что в Англии уже к концу XVI в. твердо укоренился современный, хорошо развитый зрелый национализм. С тех пор в истории Англии он сам стал одним из главных, если не самым главным фактором в любом важном повороте событий.

Перемена положения короны и религии в национальном сознании

В XVII в. главенство национальности демонстрировалось различными способами, некоторые из этих способов, хотя они и не противоречили духу елизаветинского национализма, отличались от тех способов, при помощи которых национализм выражали обычно. Положение дел при первых Стюартах способствовало отделению национального чувства от монархического. Социальные и политические изменения предыдущей эпохи имели своим результатом резкое и стабильное увеличение фактического благосостояния и власти групп, представленных в парламенте, о чем эти группы были очень хорошо осведомлены. Эти группы были в авангарде национализма и их национальное самосознание росло пропорционально этой осведомленности. Негибкость Стюартов, имевших несчастье унаследовать престол после Елизаветы I и имевших глупость настаивать на божественном праве королей, была для этих людей нестерпимым оскорблением. Они чувствовали, что имеют право на большую долю в управлении страной и на большее уважение, получая при этом меньше того, к чему привыкли. Политика Якова I и Карла I и их неспособность осознать те вещи, которые подразумевались в определении Англии как нации, угрожали, казалось, самому существованию англичан как англичан, их вере в то, что они являются тем, кем они являются, и противоречили самой идентичности народа. Эта политика мешала свободе быть англичанином, мешала реализовывать свое членство в нации, и, таким образом, воспринималась как угроза «вольностям английским». Именно эта невозможность быть англичанином в Англии и заставила около шести тысяч людей уехать в Северную Америку – важный шаг, чью значительность удалось оценить только двумя столетиями позже [104].

Стюарты своеобразно повторили ошибки царствования королевы Марии I. Они оскорбили значительную часть населения в ее **национальном сознании**, в том сознании, которое возвысило массы англичан до положения элиты и дало каждому из них такое сладостное чувство личного достоинства, каковое, поскольку они знали его столь короткое время, ничуть не утратило для них своего вкуса. Реакция на это оскорбление была такой же, как и при Марии, – в национальной идее стали обращать внимание на антимонархические послышки, и нацию переопределили как единственный источник верховной власти. Те слои, которые к этому времени приобрели национальную идентичность все еще – и очень глубоко – были преданы тому политическому единству, чьей частью они были, но король уже не был в этой преданности центральной фигурой. Само существование короля стало считаться опасным и излишним. В национальности усилились демократические и либертарианские смыслы.

Политика Стюартов также оскорбляла определенные религиозные чувства людей, что было почти неизбежно, поскольку нация, чью национальность Стюарты не смогли оценить, была в это время протестантской нацией. Протест против этой политики, подобно оппозиции власти Марии I, был поэтому связан с религиозным протестом. В нем использовался расхожий идиом Протестантской религиозной оппозиции – пуритане. Пуританство было созданием елизаветинской эпохи. Возможно, непосредственной причиной возникновения этого движения послужил недостаток престижных постов для духовенства. Одновременно с этим росло количество образованных выучеников университетов, подготовленных и готовых занять эти посты [105]. Пуританское состояние ума было, однако, ничем иным, как логическим развитием национального сознания, которое становилось сильнее с каждым днем и начинало перерастать самодовольно монархические одежды, так хорошо служившие ему вначале.

Восшествие на трон Елизаветы I привело к тому, что возвращающиеся изгнанники убрали республиканские мотивы в национальном определении Англии как организованной

общности (polity) на задний план. Но эти мотивы не были забыты. Хукер в *The Laws of Ecclesiastical Polity* писал: «Там, где над доминионом властвует король, никакое иностранное государство или властитель, никакое местное государство или местный властитель, буде он один или много, не могут... обладать более высокой властью, чем король». «С другой стороны, – добавил он, – король один не имеет власти действовать без согласия палаты лордов и общин, собирающихся в парламенте: король сам по себе не может изменить ни суть судебных исков, ни суды... ибо закон ему это запрещает». К концу века классы, представленные в парламенте, имели большую власть, и власть эту они осознавали. Сэр Томас Смит писал в *De Republica Anglorum* (1589), что «самой высшей и абсолютной властью в Королевстве Английском обладает парламент... Парламент отменяет старые законы и создает новые... изменяет права и имущественное положение отдельных людей, ... устанавливает формы религии... устанавливает форму престолонаследия... Ибо считается, что каждый англичанин присутствует в нем, лично ли, либо через своих представителей ли, к какому бы сословию человек сей ни принадлежал, каким бы положением и достоинством или качествами ни обладал, от принца до самого последнего нищего Англии» [106]. Это было не голословным утверждением, а очень точным описанием сложившейся ситуации. Именно благодаря этой ситуации, после самой серьезной стычки с парламентом за все ее царствование – дебатов относительно монополий 1601 г. – потерпевшая поражение Елизавета I сочла нужным поблагодарить палату общин за то, что удержали ее от ошибки, добавив, что государством должно управлять во благо подданных, а не во благо тех, кто призван им управлять, и воззвала к «любви» своих подданных [107].

Эту в основе своей республиканскую позицию негласно разделяли многие, но для того, чтобы отстоять ее открытое внедрение в социальный строй, потребовалась религиозная фракция (секта). Вначале эта религиозная секта, которая впоследствии стала известна под одиозным названием пуритане требовала лишь реформы церкви согласно, якобы, заветам Писания [108]. Пуритане нападали на епископов, настаивая на праве и способности каждого читать и толковать Библию, и агитировали за пресвитерианское управление церковью. Однако их противники были правы, указывая на то, что пуританство открывало ворота для реформы общества в целом и подразумевало не менее чем уничтожение существующего строя. В речах Томаса Картрайта (Thomas Cartwright), лидера пуритан, архиепископ Витгифт (Whitgift) усмотрел «ниспровержение государевой власти в делах духовных и гражданских». Епископ Эйлмер увидел в пуританстве основание для «величайшей спеси подлейшего свойства», а король Яков I суммировал все это в чеканной формулировке: «Нет епископа – нет короля» [109]. Лоренс Стоун справедливо определил пуританство как «не более чем общую убежденность в необходимости независимого суждения по совести, суждения, основанного на чтении Библии» [110]. Пуритане были страстными националистами, и пуританство привлекало различные и широкие круги населения; вот почему великий социальный и политический бунт середины XVII в. известен как Восстание пуритан [111]. Это, безусловно, совершенно не противоречит тому факту, что настоящие пуритане были, вероятно, глубоко религиозными людьми. Хотя точно также вероятно, что их сторонники и участники оппозиции Стюартам, которых позднее, не проводя между ними различия, тоже называли пуританами и идентифицировали как пуритан, религиозными людьми не были. Но было или не было пуританство по своей сути религиозным движением, ему исключительно помогло, что оно себя таковым выставляло. Религия все еще оставалась наиболее убедительным средством для того, чтобы оправдать беспрецедентной величины социальное изменение, которое было заложено в определении Англии как нации. Она помогала верить, что, независимо от того, что конкретно обуславливала новая реформа, этого требовал Господь, и это прямо истекло из роли Англии в религиозной борьбе между силами света и тьмы. В ноябре 1640 г. пуританские проповедники, при поддержке парламента, призвали англичан, восстать во имя

своего религиозного долга. Но к тому времени приоритет политического и национального над всем религиозным становился все более очевиден.

Главным вопросом революции была, по мнению Гоббса, не религия, а «та свобода, которую себе присвоил низший слой граждан под предлогом религии» [112]. Теперь людей объединяла не религия, а национальная идея, базирующаяся на свободе разумного индивидуума. Сдвиг относительного центра в том, что касалось собственно религиозной и секулярной национальной преданности, можно было увидеть раньше. Он отразился в той гибкости, совершенно исключительной для XVI в., с которой английское население приспособлялось к многочисленным сменам веры, благодаря бурной истории того времени. И среди жаркого общественного противостояния, буквально в те самые года, которые предшествовали восстанию пуритан, общее отношение к революции сводилось к тому, что «самое безопасное – придерживаться религии большинства» [113].

Здесь не место вдаваться в подробную дискуссию о причинах, предпосылках и течении революции; все они уже давно и долго обсуждались, ибо революция была главной темой исторических исследований, связанных с Англией XVII в. В то же самое время обсуждение национализма представляет это событие в иной перспективе и на самом деле требует новой интерпретации этого факта. В свете этого взгляда революция, в сущности, является действительно конфликтом между страной и короной, то есть, конфронтацией между короной и **нацией**.

Это был акт политического самоутверждения нации: именно всех тех групп, включенных в тогдашний политический процесс и обладавших национальным сознанием, а оно фокусировалось на проблеме верховной власти.

Такая интерпретация английской революции дает ей мотив, являющийся необходимым элементом в человеческой деятельности подобной сложности. Она также объясняет в ней некоторые сомнительные моменты. В этом случае, например, понятно, почему деревенская беднота и городские наемные рабочие оставались пассивными и индифферентными. Они были пассивны и не заинтересованы в революции, потому что они были неграмотными, на них не воздействовала, дающая собственное достоинство, национальная идентичность; они еще не стали членами английской нации и их не затрагивало оскорбление национальности. Эта интерпретация также объясняет отсутствие четкого разделения населения, активно участвующего в конфликте. На обеих сторонах, участвующих в конфронтации, можно было обнаружить представителей всех затронутых ею слоев. Этот факт уменьшает правдоподобность объяснений, связанных со стратификационным делением, будь оно классовым или статусным.

Однако при анализе в терминах национальных чувств не поддающееся, в противном случае, классификации деление становится понятным. После почти полутора веков длительного развития, идея «нация» стала иметь связь с различными факторами, которые через эту связь приобрели внятный националистический смысл и могли быть интерпретированы несколькими способами. Долгое время нация была связана, фактически персонифицирована в личности короля, поэтому для многих оппозиция королевской власти была ничем иным, как антинациональной оппозицией. Наиболее распространенная точка зрения же была такова, что нация определялась в терминах индивидуального личного достоинства, или свобод (вольностей) ее членов, и все, что мешало осуществлению этих свобод, было антинациональным. Эти две точки зрения были доступны людям, принадлежащим к любому социальному слою, и человек выбирал одну из них, иногда в противовес собственным объективным интересам. Тот факт, что повстанческая точка зрения эти объективные интересы поддерживала, а при монархической точке зрения (когда нация была связана с монархией) эти интересы были несущественны, стал причиной тому, что превалировала точка зрения мятежников, и способствовал окончательной победе парламентского (или патриотического)

дела. Определение английской нации без монархии, а корона в течение первого наиболее важного столетия постоянно помогала ее развитию, было, однако, очень сомнительным; при Реставрации нация и монархия опять оказались связанными воедино, хотя уже и на других условиях, и монархия осталась важным национальным символом.

Тем не менее революция помогла разбеднить вещи, исторически связанные с идеей «нация», но для нее несущественные. Она ясно дала понять, что национализм был про право участия в управлении государством, он был – за свободу, а не за монархию или религию [114]. Этих двух, ранее незаменимых союзников, на время отставили. Королевская власть была упразднена, а религию переосмыслили таким образом, что она утратила большую часть своей специфически религиозной значимости. Ее по-прежнему идентифицировали с борьбой за нацию, но если раньше именно связь с религией узаконивала национализм, то теперь только связь с национализмом придавала религии хоть какое-то значение, в An Humble Request to the Ministers of Both Universities and to All Lawyers in Every Inns-A-Court (1656) диггер Джерард Уинстэнли (Winstanley) определил истинную религию как возможность национального существования. «Истинная, чистая религия, – говорил он, – состоит в том, чтобы позволить каждому иметь землю, которую он может возделывать, затем, чтобы все могли жить свободно своим трудом». Важную роль здесь играет то, что диггеры символизировали собой проникновение национального сознания в низшие, ранее не имевшие к нему отношения слои общества. Уинстэнли толковал национальность, не будучи обремененным слишком тесным знакомством со всеми сложными традициями, которые участвовали в ее создании, но своим незамутненным взглядом он ухватил самую суть. Быть англичанином означало для него быть по существу равным любому другому англичанину и иметь право на долю во всем, чем располагает нация. Если национализм парламента этого не означал, тогда такой национализм не значил ничего и парламент был предателем нации. «Основую же всех национальных законов, – настаивал Уинстэнли, – есть собственность на землю... Первый парламентский закон, который побуждает бедный народ Англии засеять общинные и пустые земли таков, что в нем люди объявляют Англию свободным государством (Commonwealth, общим достоянием). Этот закон разбивает вдребезги королевское ярмо и законы Вильгельма Завоевателя и дает каждому англичанину обычную свободу: спокойно жить на своей собственной земле, в противном случае Англия не может быть государством – Commonwealth... судьи не могут называть этих людей бродягами... потому что по закону копать землю и работать, бродяжничеством не является... Эти люди – **англичане** по закону палаты общин Англии» [115].

Высказывания главных деятелей этого времени, вероятно, проигрывают в прямоте речам Уинстэнли, но влияние национальной идеи на этих деятелей равно очевидно. Совершенно ясно, что нация и, соответственно, свобода (вольность) были в центре внимания у О. Кромвеля, и он не проводил четкого различия между службой нации и истинным вероисповеданием. «У Господа в этом мире есть две величайших заботы, – говорил он, – одна из них – это религия... а также свобода людей, исповедующих благочестие (во множестве форм, существующих среди нас)... Другая его забота – это гражданская свобода и интересы нации, которые, хотя и (и как я думаю справедливо) должны быть подчинены более личному интересу Бога – тем не менее, они являются той второй лучшей вещью, кою Господь дал миру сему ... и ежели кто-либо мыслит, что интересы христиан и интересы нации противоречат друг другу или означают разные вещи, то пусть душа моя никогда не постигнет сей тайны!» Религию О. Кромвель поставил на первое место, но его трактовка «интересов Бога» (то есть религиозной свободы) делает ее просто одним из интересов нации. В другом месте он утверждал: «Свобода совести и свобода подданных – две столь же великие вещи, за которые стоит бороться, сколь и любые другие, кои дал нам Господь». В своих речах в парламенте он много раз подчеркивал, что борется за «свободу Англии» (а не религии); что

цель революции – «сделать нацию счастливой». И с гордостью заявлял о своей преданности нации, говорил об «истинно английских сердцах и ревностном усердии на благо нашей Родины-Матери». «Мы склонны хвастаться тем, что мы – англичане, – говорит Кромвель, – и воистину нам не следует этого стыдиться, но это должно побуждать нас действовать как англичане и алкать истинного блага нации сей и выгоды» [116].

Каким бы националистом ни был сам Кромвель, а, очевидно, он был настоящим, глубоко чувствующим националистом, Драйден (Dryden), Спрат (Sprat), Пепис (Pepys) и другие интеллектуалы тогдашнего времени подчеркивали его вклад в усиление и славу нации и именно за это его восхваляли. Примерно через три столетия после его смерти сочли нужным издать монографию о личности О. Кромвеля и социальной роли «Божьего англичанина» (God's Englishman) и выбрали в качестве эпиграфа его высказывание: «Мы – англичане, одно это – уже хорошо» [117].

Мильтон (Milton), лидер «новой религии патриотизма», является другим примером все более светского национализма и акцентуации его либертарианских предпосылок в XVII веке [118]. Как многие другие до него, Мильтон верил в богоизбранность англичан. В *Areopagitica* он апеллировал к палате лордов и общин: «Воззрите, к коей Нации Вы принадлежите, и коею правите: нацией не медлительною и тупоумною, но быстрого, искусного и пронзительного разума, скорой на изобретения, яркой и живой в речах своих, нацией, коя может достичь любого самого высшего предела человеческих возможностей... сия нация избрана пред всеми другими... (Когда) Господь указывает начать какую-либо новую и великую эпоху... Разве он не открывает себя... как это ему свойственно, прежде всего своим англичанам?» С течением времени, однако, взгляды Мильтона на природу и причины этой избранности претерпевали значительные изменения. В своей ранней работе – трактате *Of Reformation in England* (1641) – он выдвигал уже известную апокалиптическую концепцию, очень в духе Фокса, об английском лидерстве в Реформации. Позднее, ратуя за различные социальные реформы, в частности за реформу брака (*Doctrine and Discipline of Divorce*, 1643–44) и свободное от лицензии книгопечатание (*Areopagitica*, 1644), он защищал эти реформы на том основании, что они соответствовали английскому национальному характеру, так же как и религиозному и историческому предназначению Англии. В своей «Истории Британии» (*History of Britain*) он нападал на организованную церковь как таковую, доводя до логического заключения протестантскую доктрину о священстве всех верующих и требуя полного равенства для своей нации «столь гибкой и столь расположенной к поиску знания». Его изречения, полные религиозного пыла и все еще использующие авторитет религиозных текстов, перестали иметь что-либо общее с религиозным содержанием. «Великая и почти единственная заповедь Евангелия – не творить ничего против блага человека, – писал он, – и особенно не творить ничего против его гражданского блага» – и «главной целью любого обряда, даже самого строгого, самого божественного, даже Субботного обряда является благо человека, да даже его мирское благо не должно быть исключено». Теперь для него исключительность Англии отражалась в том, что она была «домом свободы», народом «навсегда славным прежде всего в достижении свободы». Вместо того чтобы быть вождем других наций в религиозной Реформации, Англия стала их вождем на пути к гражданской свободе. В этом, писал Мильтон, «мы имеем честь, быть впереди всех других наций, которые сейчас прилагают тяжкие труды, чтобы стать нашими последователями» [119]. Свобода стала отличительной чертой английскости.

Революция помогла завершить процесс, который начался столетием раньше. Она способствовала тому, что большее количество людей «было вовлечено в политические действия во время революционных сороковых и пятидесятых, поставила их в более прямую зависимость от Лондона... национальное сознание (поэтому) распространилось в новых географических регионах и проникло в низшие социальные слои» [120]. Парламентские

статуты, речи и листки отделили тему национальности от темы религии и от власти английской короны и прояснили значение национальной идентичности. После Гражданской войны, нацию утвердили как главный объект преданности, и в этом отношении ее перестали считать сомнительной. Будучи самоочевидным фактом, она больше не требовала ни религиозной, ни монархической правомерности.

Религиозный идиом, при помощи которого национальные идеалы выражались ранее, вскоре исчез. Это не подразумевает того, что люди утратили веру в Бога или перестали соблюдать церковные обряды – в XVII в. это было почти невероятно, – скорее, религия утратила свою власть в других видах деятельности, она перестала быть источником социальных ценностей и, вместо того чтобы их формировать, ей пришлось приспособливаться к общественным и национальным идеалам. Условия, облегчившие принятие протестантизма и пуританства в Англии, были теми же, что стали почвой для развития национального сознания, чему религия послужила лубрикаторм (смазкой).

Судьба монархии не слишком отличалась от судьбы религии. Реставрация не реставрировала старые взаимоотношения между короной и народом. При Карле Втором парламент настойчиво подчеркивал свой мирный и покорный характер и даже, как мы видим, воздерживался от употребления самого слова «нация» в своих документах. Но вскоре после возвращения короля, изменившееся по своей сути положение, как религии, так и монархии, символизировал и отразил королевский молитвенник (Common Prayer Book). В версии Карла Второго к обычному объему молитв был добавлен целый новый раздел «молитв и благодарствий по случаю отдельных событий», куда были включены молитвы о дожде, хорошей погоде, войне и бедствиях, чуме и болезни; среди молитв, относящихся к такому внезапному выражению божьего гнева или благоволения, была «Молитва о собрании парламента, читаемая во время его сессии». Текст молитвы известен, он гласит:

Most gracious God, we humbly beseech thee, as for this Kingdom in general, so especially for the High Court of Parliament, under our most religious and gracious King at this time assembled: That thou wouldest be pleased to direct and prosper all their consultations to the advancement of thy glory, the good of thy church, the safety, honour and welfare of our Sovereign, and his Dominions; that all things may be so ordered and settled by their endeavours, upon the best and surest foundations, that peace and happiness, truth and justice, religion and piety, may be established among us for all generations. These and all other necessities, for them, for us, and thy whole Church, we humbly beg in the name and Mediation of Jesus Christ our most blessed Lord and Saviour. Amen [121].

(Всемиловейший Боже, смиренно умоляем Тебя как королевства сего ради, так и особенно ради высокого собрания парламента при нашем благочестивейшем и милостивейшем государе-короле, собравшегося и созванного в сие время: Не оставь Своею милостью и направь и благоприятствуй всем его (собрания) советам касательно распространения славы Твоей, благоденствия церкви Твоей, безопасности, чести и благосостояния государя нашего и его доминионов; чтобы, благодаря его (собрания) усилиям, все так уладилось и поставлено было на самых лучших и твердых основаниях, чтобы покой и счастье, истина и справедливость, религия и благочестие восторжествовали у нас во веки веков. О сем и всем остальном насущно необходимом, ради них, ради нас и всей церкви Твоей, смиренно умоляем именем и заступничеством Иисуса Христа, благословенного Господа нашего и Спасителя. Аминь.)

Контекст этой молитвы – то есть место парламента относительно выражения Господнего недовольства или благоволения – показательно и интересно то, что такой молитвы за здоровье или благоденствие короля не существовало.

Страна экспериментального знания

Чувство культурной особенности нации возникло одновременно с ее политическим самоутверждением. Тенденции Елизаветинской эпохи имели продолжение в новом столетии. Писатели, как и раньше, подчеркивали достоинства английского языка и литературы и настаивали на том, что они превосходят классические языки и литературу и французские язык и литературу, которые в то время считались стандартом совершенства. Пожалуй, наиболее известными трудами, с точки зрения литературного патриотизма, в XVII в., были труды Драйдена. Драйден был убежден, что английская драма намного превзошла французскую и требовал, чтобы английским поэтам «отдали их несомненный долг, в том, что они превзошли Эхила, Еврипида и Софокла». В *Annus Mirabilis* Драйден вторит оптимистической вере Дэниела в будущее величие Англии:

But what so long in vain, and yet unknown,
By poor man-kind's benighted wit is sought
Shall in this age to Britain first be shown,
And hence be to admiring Nations taught.

А что столь долго, тщетно бедный и отсталый
Ум человечества алкал и так и не познал,
Будет в сей век Британии открыто первой,
А затем ученьем будет восхищенным нациям

Однако причиной для этого оптимизма были не совершенство английского языка или надежда на его литературную гениальность, а наука [122].

Уже в начале XVI в. (как мы уже отметили) здравомыслие – как часть разума – считалось в Англии высшей ценностью. Оно было «божественной сущностью» человека, и сам язык, как считалось, был его слугой. Здравая мысль могла быть выражена посредством языка и поэтому культивировать язык было достаточно здоровой мыслью [123]. Именно это рассуждение стало первым среди доводов, приведенных королю сэром Брайаном Туком (Brian Tuke), когда король рекомендовал ему издать в 1532 г. собрание сочинений Чосера, к которому сэр Брайан написал вступительное слово [124]. Для сэра Филипа Сидни родство языка со здравомыслием служило доказательством полезности поэзии. В *Apologie* он аргументировал это следующим образом: «Если *Oratio*, вслед за *Ratio*, речь, вслед за здравомыслием, суть величайшие дары, данные смертным, то не может быть бесполезным то, что более всего оттачивает благословенную речь» [125].

Когда понятие английского национального характера выкристаллизовалось, рациональность (*rationality*) заняла в нем центральное место. Таковая английская интеллектуальная диспозиция выражалась в независимости мышления, критическом уме, способности приходить к решениям на основании – предпочтительно собственных – знаний и размышлений, любви к практическому знанию. Кроме того, благодаря этому английский национальный характер отличался тем, что апеллировать к англичанам желательно было рациональным, а не эмоциональным и не авторитарным способом, бесстрастностью и отвращением к энтузиазму. С точки зрения философа-пуриста английское мировоззрение в XVII в. можно было бы охарактеризовать как антирациональное. Недоверие к здравомыслию и «то, что по положению своему оно стоит ниже чувств» в трудах Френсиса Бэкона и его последователей подчеркивается справедливо, поскольку в то время было популярно учение скептиков [126].

Но, что бы из него ни выводили и что бы ни думали по этому поводу пуристы, это мировоззрение вело к рациональному поведению. Размышления, теоретизирование, не основанные на фактах, были действительно сомнительными, но оборотной стороной всеобъемлющего недоверия к власти была вера в здравомыслие отдельно взятой личности. Скептики ладили с властью и испытывали недостаток веры.

Вера в здравомыслие индивидуума способствовала его самоутверждению в отношениях с властью, а скептицизм, подчеркивающий бесполезность пустых размышлений, сделал чувственное эмпирическое знание основой для утверждения здравомыслия. Из этих разных элементов возникло уникальное мировоззрение, не пуристское с точки зрения философии, но исключительно систематическое в поддержке свободы индивидуального сознания. Рационализм этого мировоззрения подразумевал право на свободную мысль; его скептицизм дискредитировал догматичность и требовал терпимости к чужому мнению, его эмпиричность подрывала понятие интеллектуальной аристократии, поскольку, согласно этому мировоззрению, любой человек, обладающий нормальными, человеческими чувствами, был способен получить истинное знание, на каком-то, по общему мнению, зиждился прогресс человечества. Такой взгляд на вещи, который и стал рассматриваться как истинно английский, одновременно и воплощал, и способствовал формированию концептуальной основы демократических тенденций эпохи, а наука стала олицетворением этого рационалистического, эмпирического, скептического мировоззрения.

Со времен Бэкона наука считалась признаком превосходства потомков над предками, которым она, якобы, была неизвестна. Также со времен Бэкона, ее (науку) рассматривали как признак величия нации, гарантию и основу силы и добродетели нации [127]. В битве между старым и новым англичане идентифицировали себя с новым. Старое (предки) было иностранным, не имевшим связи с Англией, а имевшим отношение к Италии, Франции и Испании. Эти три континентальные страны были главными культурными соперниками Англии. Национальная гордость побуждала англичан заявлять о своем равенстве или даже о своем превосходстве над соперниками. Однако в классической учености Англия не могла выдержать никакого сравнения с Францией и Италией. Поддерживать авторитет древних означало признать себя отсталыми в культурном отношении. Не желая этого делать, Англия отстаивала примитивный культурный релятивизм, аргументируя это тем, что то, что было хорошо для одной эпохи и общества, совершенно необязательно будет хорошо для другой. Подобная постановка вопроса освобождала англичан от сражения на интеллектуальной арене, избранной «разрушенными Афинами или упадочническим Римом», и спасала английское национальное достоинство [128]. Поддержка нового, современного укрепляла национальную гордость. Наука была современным начинанием, поэтому на этом поле англичане могли успешно соревноваться. Будучи вначале отличительным знаком культурной особенности Англии, она вскоре стала доказательством английского превосходства. В то же самое время важность литературного превосходства уменьшилась, так как считалось, что литературные достижения выражают английский национальный гений в меньшей степени.

Взлет тогдашней науки, ознаменованный основанием Лондонского королевского общества, относили за счет влияния религии, а именно связи духа науки и протестантской этики [129]. Но хотя находящаяся в младенчестве наука, несомненно, выигрывала от того факта, что она не противоречила доминирующему религиозному мировоззрению, и поэтому религия была к ней терпима, в целом религиозной поддержке наука почти ничем не обязана. Ее растущий авторитет фактически был еще одним отражением падения влияния религиозной веры в обществе, а английские национальные светские интересы доминировали уже неоспоримым образом. Именно важность науки для английской национальной идентичности и функция, которую выполняла наука для сотворения английского культурного облика, создали такое состояние общественного мнения, которое было благоприятным для ее раз-

вития. Общественное мнение поддерживало тех, кто имел способности заниматься наукой, и заставило многих англичан, которые имели очень смутное понятие о сути научного знания, застыть в благоговении перед научным творчеством. Национализм – вот что подняло науку на вершину престижа и обеспечило ее укрепление в обществе.

Занятие наукой было делом национального признания. Достижения английских ученых постоянно использовались как оружие в культурном соревновании с передовыми континентальными нациями – наследницами классической античности. Джон Уилкинс (John Wilkins) хвастливо называл Бэкона «нашим английским Аристотелем». Уильям Гильберт (William Gilbert), автор *De Magnete* был «нашим соотечественником, которым восхищаются иностранцы» [130]. Лидерство Англии в науке было очевидным – по крайней мере, для англичан. В 1600 году, в первой главе «*De Magnete*», касаясь истории своего предмета, сам Гильберт писал: «Другие ученые, которые в длительных, морских путешествиях наблюдали различия магнитных колебаний, были все англичанами... Многих других я намеренно пропускаю: а именно современных французов, немцев и испанцев, которые в своих сочинениях, в основном написанных на их родных языках, либо злоупотребляют чужими учениями и, как полировщики оружия, выставляют старые вещи, обряженные в новые имена, используя пышный наряд новых слов, как шляхи – изукрашенные платья; либо издают работы, даже и не заслуживающие упоминания» [131].

Национальный престиж был также главной темой в борьбе за приоритет в области научных открытий. Джон Валлис (John Wallis), один из наиболее известных математиков той эпохи и автор труда о величии английской математики часто поднимал эту тему в своих письмах. Он желал, «чтобы те (ученые) нашей нации, были бы более скорыми, чем я их, в общем, нахожу (особенно наиболее значительные ученые) на то, чтобы вовремя публиковать свои открытия и не допускать, чтобы иностранцы крали славу у тех из нас, кто является автором этого открытия» [132]. Это было также темой первого официального письма Королевского общества Ньютону. В нем Генри Ольденбург (Henry Oldenburg), секретарь Общества, информировал Ньютона о проверке его изобретения совмещенных телескопов, называя его «самым выдающимся (ученым) в области теоретической и экспериментальной оптики», и выражал общее мнение, что «необходимо использовать некоторые средства, чтобы обезопасить изобретение, дабы его не присвоили себе иностранцы». В письме, написанном позднее в том же году, Ольденбург умолял Ньютона: «Сей труд нужно публиковать без промедления, ибо есть резоны опасаться, что поразительные и оригинальные мысли, в нем содержащиеся, ...могут быть похищены, и честь их авторства может быть украдена иностранцами, из коих некоторые, как я уж прежде Вам писал, имеют склонность к похвальбе и распространению того, что никак не является порождением их страны» [133].

Величие нации была также важной причиной – возможно, единственной, которая могла бы сравниться с личными устремлениями ученых – для того, чтобы в принципе продолжать научную работу. В одном из своих более поздних писем Ольденбург писал Ньютону о том, какое признание получили ньютоновские труды за рубежом. Ольденбург считал, что подобная информация должна «сподвигнуть (Вас) достичь еще больших высот, как во имя себя, так и во имя чести нации» [134]. Эдмунд Галлей (Edmond Halley), будучи сам выдающимся ученым и королевским астрономом, использовал тот же самый аргумент, когда разговор шел о публикации *Principia*, желая иметь уверенность в том, что Ньютон будет продолжать свой труд: «Я надеюсь, что Вы не будете сокрушаться о тех тяжелых усилиях, кои Вы предприняли для написания столь славного труда, каковой столь добавляет чести нации и Вашей собственной, ...что было бы хорошо, если бы Вы продолжили ваши исследования» [135].

Практикующие ученые полностью разделяли мнение пропагандистов и апологетов науки, которые сами ею не занимались, что главной причиной ее узаконения был вклад науки в национальный престиж. Даже Ньютон в редком письме, не полностью посвященном тех-

ническим подробностям его научных исследований, отдал дань подобным взглядам [136]. Рекомендую другого ученого, географа Джона Адамса (John Adams) своему кузену сэру Джону Ньютону, он представлял его работу (географический обзор Англии) как «работу, служащую чести нации» и считал, что благодаря этому Адамса «следует ободрить всемерно» [137].

Роберт Бойль (Robert Boyle) был также явно озабочен английским превосходством в науке. Он заставил Ольденбурга перевести на латынь все свои работы, написанные на английском, чтобы защитить их от неавторизированных переводов на другие европейские языки и от иностранного плагиата. Ольденбург, со своей стороны, за редким исключением, всегда передавал Бойлю информацию, получаемую от иностранных корреспондентов Королевского общества, о реакции заграницы на достижения английской науки. Некоторые письма почти целиком посвящены этой теме. «Следует отметить, – обычно заключал Ольденбург, – что Англия располагает большим количеством ученых и любознательных людей, в Англии их больше, чем во всей Европе в целом; те работы, которые они делают, – солидны и детализированы, ибо мир слишком долго пробавлялся общими теориями [138].

Подобные самовосхваляющие высказывания более чем соответствовали оценке английской науки иностранцами, которые признавали лидерство Англии в этом отношении и также видели в нем отражение величия нации. Немецкий корреспондент Королевского общества Майор (J. D. Major) писал в 1664 г.: «Мнится, что для замечательного английского народа характерно осуществлять великие свершения, благодаря глубокому и совершенно необыкновенному дарованию».

Другой корреспондент сравнивал английское превосходство в медицинских науках со славой Англии в мореплавании: «Как в прошлом исследование морей день за днем добавляло новые острова английскому королевству, ... так теперь любовь к научной истине вела знаменитого Бэкона и Дигби (Digby), вместе с выдающимися Гарвеем (Harvey), Бойлем, Чарльтоном (Charleton), Хаймором (Highmore), Глиссоном (Glisson) и Уоллесом (Wallis), к тому, чтобы пролить новый свет на медицину. Он обещал, что немецкие ученые не забудут, в каком долгу они были перед Англией: «(Если) Германия не сможет добавить ничего заслуживающего внимания к вашему английскому океану, то мы можем предложить Вам неизменную память о том, какие блага мы получили от Вас; и каковы бы ни были наши собственные труды, появляясь в печати, они будут свидетельствовать о том, что мы черпали из английских источников» [139].

Иностранные корреспонденты отмечали, что англичане гордятся научными достижениями своих соотечественников, что наука в Англии имеет необыкновенно большой вес в обществе и пользуется широким общественным признанием. Насколько резко отличался престиж науки в Англии от того, как к ней в то время относились в других странах, можно понять из знаменитой *Eulogium to Newton* Фонтенеля (Fontenelle). Фонтенель явно верил в то, что научное величие означает величие нации. В свете этого мнения значимость исключительно высокого положения, которое занимала в Англии наука, на примере того, как нация оценивала Ньютона, очень увеличивается. Об отношении англичан к своим ученым Фонтенель писал следующее: «Как же исключительно повезло сэру Исааку Ньютону, что он смог насладиться наградой за свои заслуги при жизни, совершенно напротив Декарту не воздали никаких почестей, кроме, как после смерти. Англичане не испытывают меньшего уважения к великим Гениям, если они родились среди них, и они столь же далеки от того, чтобы недооценивать их, злобно их критикуя. Они не одобряют, когда на ученых нападают завистники. Они все поддерживают своих ученых; и та великая степень свободы, которая служит причиной их разногласий по самым важным вопросам, не препятствует им объединяться в этом. Все они прекрасно осознают, сколь высоко должно цениться в государстве величие разума (познания), и кто бы ни обеспечивал сие Величие, тот становится им необыкновенно

дорог... Нам надобно оглянуться назад на древних греков, если мы хотим найти примеры такого поразительного благоговения перед ученостью» [140].

Восхищение иностранцев, смешанное, как мы видим, с долей зависти, укрепило англичан в определении себя как научной нации. Представители королевского общества использовали этот факт для того, чтобы обеспечивать дальнейшую поддержку науки, и постоянно напоминали обществу, что наука сделала Англию великой. О службе, которую нации сослужила наука, также постоянно твердили апологеты науки, которым приходилось ограждать ее от все еще многочисленных (и, в данном случае, вдохновляемых религией) врагов. Среди этих апологетов особенно значителен Томас Спрат. Его «История Королевского общества» явилась в XVII в. «кульминацией в пропаганде новой науки», «наиболее искусной и исчерпывающей защитой Общества и основанной на опыте философской системой», а также «наиболее значимым документом во всей литературе, пропагандирующей новую науку». Кроме того, она «представляла официальную точку зрения на материю» [141]. Труд был заказан Королевским обществом, оценен несколькими видными его членами и признан ими исчерпывающим.

Чувства, к которым Спрат почти исключительно апеллировал, были «национальная гордость» и «преданность». В «Истории» он заявлял, что его вдохновляло «само величие проекта», а «рвение мое послужит чести нашей нации» [142]. В другом месте он добавлял, что старался «представить данный Королевского общества проект, как служащий к пользе Славы Англии»; примечательно, что этот будущий епископ Рочестерский не упомянул религию [143]. Спрат был неплохо осведомлен о более низком положении Англии в области «изящных материй» (таких, как литература и искусство), однако представил это голословным утверждением иностранцев и скорее выражением их высокомерия, нежели истиной. В *Observations on Mons de Sorbier's Voyage into England*, документе глубоко националистическом, он писал: «Французы и итальянцы соглашаются, что в последних сочинениях на их языках маловато достоинств, чтобы брать их за образцы. Итальянцы попытались заставить нас думать, будто «Изящные искусства» никогда не перебирались через Альпы, но, будучи побиты числом, они согласились разделить эту честь с французами и испанцами. Сия троица придерживается единого мнения, что только среди них следует искать разумное: таков, якобы, порядок вещей, что лучшие чувства всегда тянутся к Солнцу и редко осмеливаются забираться севернее 49-й параллели». Он постарался было вступить за честь и английской словесности, хотя, очевидно, эта область оказалась чересчур скользкой. «Во времена первого восстановления учености англичане научились хорошо писать быстро, как и многие другие, если не считать итальянцев; и... если сегодня, опять-таки, взглянуть на итальянцев, англичане хорошо пишут дольше, чем они... Сейчас у нас такое обилие подлинных мастеров, сеющих разумное и истинное, сколько Древняя Греция не дала за все века, но чьи имена я не упомяну – пусть назовут их потомки». Он также постарался представить явные недостатки английской культуры как знак ее фактического превосходства: «Характер англичан – свободный, скромный, добрый: их трудно спровоцировать. Они не столь многоречивы, как другие, но зато они гораздо более заботятся о том, что они говорят. Некоторые их соседи считают, что их Гумору несколько недостает изящества и гибкости, зато сей недостаток с лихвой восполняется их твердостью и мужественностью: и, вероятно, одно и то же наблюдение справедливо как насчет мужчин, так и насчет металлов – самые благородные полируются с наибольшим трудом».

Но именно английское первенство в науке Спрат считал самым неопровержимым доказательством культурного дарования своей страны: «Искусства, кои... сейчас у нас преобладают – сие не только пользительные науки античности, но, очень во многом, особенно, все последние открытия нынешней эпохи – в области практического знания человека и природы. Что касемо усовершенствования сего вида просвещенности, английская диспозиция

– гораздо других предпочтительнее» [144]. В сравнении с таким реальным знанием «истинным искусством жизни» гуманистическая ученость и литература были всего лишь пустячком. И посему *The History of the Royal Society* («Историю Королевского общества») пронизывал дух уверенности в будущем величии и процветании Англии: наука прочно укоренилась в английском национальном характере, и ее успехи вдвойне служили залогом успехов нации. «Если б возможно было описать общий нрав любой ныне существующей нации, – убеждал Спрат, – то вот как должно было бы характеризовать соотечественников наших: они обычно искренни без аффектации, любят выражать свои мысли со здоровой простотой... следует отметить их благородную цельность, их пренебрежение к пышности и церемониям; умение видеть вещи главные (в той или иной степени), их отвращение к обману (как к тому, чтобы обманывать, так и к тому, чтобы обманывали их), сие есть лучшие качества, которыми может быть одарен ум философический, ибо даже наше климатическое положение, воздух, влияние небес, сам состав крови английской, вкуче, как мнится, с трудами Королевского общества, представляют отечество наше как страну экспериментального знания». «Сам гений нации, – утверждал он, – неудержимо тянется к науке». Успех Королевскому Обществу был обеспечен, потому что оно воплощало в себе «господствующий в настоящем гений Английской нации». Отстаивая подобные взгляды, разносторонний священнослужитель Спрат вопрошал: «Ежели англиканская церковь противостоит научным исследованиям, как может она соответствовать ныне существующему гению нации сей?» [145].

Наука не только выражала английский «нрав» – она фактически преобразовывала умы, способствовала большей рациональности (разумности) и, таким образом, объединяла и усиливала нацию. Так думал Спрат, и это было одним из аргументов Джозефа Гленвилла (Joseph Glanvill) в его *Plus Ultra*, где он предрекал, что наука «в прогрессе своем сделает Дух человеческий более склонным к спокойствию и скромности, к милосердию и благоразумию в религиозных разногласиях и даже будет гасить споры. Ибо свободное, разумное знание ведет к искоренению людских заблуждений и таким образом лечит болезнь в корне; а истинная философия является особым средством против споров и разногласий» [146].

Благодаря своей тесной солидаризации с английской нацией, наука завоевала громадный авторитет и заняла центральное место в национальном сознании. Другие виды деятельности и сферы культуры должны были доказывать свое соответствие науке, чтобы получить национальное одобрение. Религия стала одним из таких видов деятельности. Перечисляя те преимущества, которые сделали Англию счастливейшей из всех стран, Спрат, после того как он упоминает о военной силе, политической мощи и науке, отмечает также «исповедание такой религии и дисциплину такой церкви, каковую избрал бы беспристрастный философ... (и) каковая выказывает явственные свидетельства тому, ...насколько тесно ее интересы объединены с процветанием нашей страны» [147]. Примечательно то, что религия отрекомендовывается здесь не только своим родством с духом нации и согласованностью с национальными интересами, но также и тем, что ее могут принять «беспристрастные философы», то есть ученые. Наука стояла на страже национальных интересов, и когда религиозное рвение воспринималось как угроза науке, ее представители считали своим долгом нападать на религию, что они и делали с восхитительным в то время чувством безнаказанности. «История» (History) Спрата, *Plus Ultra* Гленвилла (Glanvill), *Annus Mirabilis* Драйдена, кроме того, что они являлись апологиями науки, были еще и частью атаки на религиозный энтузиазм *Mirabilis Annus* (1666) [148]. Эти авторы считали, что этот энтузиазм стал причиной бед, свалившихся на Англию в непосредственно предыдущие годы, а наука противопоставлялась ему в качестве средства излечения. Общее неверие в энтузиазм и религиозный пыл отразилось в сильном и явно выраженном антипуританском чувстве. В частности, чувство это выражалось в нападках на пуританский стиль проповедей – подобные нападки имели место во второй половине XVII в. [149]. Ученые мужи и склонное к науке духовенство были в

числе самых ярких его критиков. Главное место в их критике занимал все тот же знакомый эгалитарный – и националистический довод, что опора на греков и латинян и использование причудливого языка, в чем они обвиняли духовенство, делало проповеди доступными только высшим слоям населения. Они убеждали духовенство улучшать свое знание обычного английского языка и использовать его.

Этот научный стиль проповедей скоро стал в Англии доминирующим, и быстрый успех атаки на религию снова продемонстрировал, какая перестановка по важности мирских и религиозных дел совершилась в английском обществе. Наука на время заняла то место в английском национальном сознании, которое до нее занимал протестантизм. Она выражала сущность английской национальной идентичности. Одним из эффектов этой внутренней связи между первой нацией, которой было предназначено стать одной из самых могущественных мировых сил, и маргинальной прежде деятельностью, стал невероятный авторитет науки в современном обществе. Из-за связи с английским национализмом наука стала культовым объектом задолго до того, как она смогла показать свой реальный потенциал, последующая реализация которого только частично связана с ее полурелигиозным статусом.

Та Англия, которая возникла из гражданского и религиозного процесса середины XVII в., была нацией. Формирование ее в течение предыдущих полутора столетий представляло собой грандиозное изменение в природе и в всеобъемлемости политической жизни, а также оно стало первым главным прорывом в демократию. Английское национальное сознание было прежде всего и более всего осознанием личного, индивидуального достоинства, достоинства человека как личности. Оно подразумевало и выдвигало вперед (хотя и не могло неизбежно влечь за собой немедленную их реализацию) принципы личной свободы и политического равенства. Эти понятия стали главными и в определении английской национальности (nationhood). Принципы эти не изменились, когда религиозный идиом был отброшен, – их суть просто обнажилась. Считалось, все равно, что люди имеют разум, ибо созданы по образу Божьему, соответственно, требование их равенства проистекает из акта создания. Но именно гордость человеческим разумом, а не благоговение перед его источником, вдохновляла таких людей, как Мильтон, после Гражданской войны. Право на свободу совести, свободу человека, автономию разумного существа эти люди защищали ради самих этих прав как высших ценностей. Идеи эти ни в коем случае не были собственно английскими, да и выдвинули их впервые не англичане. Но именно в Англии они смогли стать сущностью самой идентичности народа и поэтому так прочно укоренились в сознании как индивидуальном, так и коллективном, так прочно укоренились в культуре, что смогли трансформировать саму социальную среду, их вскормившую.

Случилось это благодаря комбинированной поддержке нескольких факторов. Идея «нация» была принята прежде всего из-за изменений в обществе, в процессе которых одна элита сменилась другой, и старое определение и правомерность существования аристократии стали устаревать – тогда возникла потребность в новом определении и правомерности. Большая мобильность, сохранявшаяся исключительно долгое время, и постоянное перегруппирование социальной структуры, которое проистекало из этой мобильности, делали национальную идентичность привлекательной для все большего и большего количества людей.

По своим собственным соображениям Тюдоры – все, за исключением Марии I, – относились к этой идее благосклонно и обеспечили ей весомую королевскую поддержку. Уже выраставшее национальное сознание было многократно усилено, когда оно слилось с протестантской Реформацией. Библия на английском языке и беспрецедентное распространение грамотности стали функционально эквивалентны эффекту возведения в новую аристократию для огромной массы простых англичан. Эта масса читателей также была возвышена и приобрела совершенно новое чувство собственного достоинства, которое национальная

идентичность усиливала, и это чувство приводило их к тому, что они эту национальную идентичность приобретали. Контрреформистская политика Марии I была также антинациональной, и эта политика способствовала тому, что простой народ, так же, как и аристократия противопоставил ей личную заинтересованность и в протестантизме, и в национализме. Конец ее царствования, наступивший так скоро, сделал эту группу людей, которая действительно хотела никогда больше не допускать угнетения своих интересов, а их она идентифицировала с интересами Англии, правящим классом страны на много лет вперед. Эти же годы установили тесную связь между протестантским и национальным движением. Связь эта снабдила растущее национальное сознание Господним соизволением, представила национальное чувство как религиозное, в те времена, когда только религиозные чувства были самодозволены и моральны по собственному праву, а также обеспечила национальному чувству защиту от своего собственного сильнейшего соперника. Казалось, что все важнейшие факторы английской истории того времени специально совпали таким образом, чтобы благоприятствовать росту национализма, в то время как оппозиции ему фактически не существовало. Благодаря этому, у английского национализма было время для созревания; ему позволили – и помогли – проникнуть во все сферы политической и культурной жизни, распространиться во всех слоях общества, за исключением самых низших, и стать мощной силой, которой для своего существования уже не было нужды в подпорках. Он приобрел собственный импульс, существовал по собственному праву, был единственным способом, с помощью которого люди стали в то время видеть реальность и таким образом стал реальностью сам по себе. Ибо национализм стал основой человеческой идентичности, и уже невозможно было в тот момент перестать мыслить в национальных смыслах без того, чтобы перестать быть самим собой.

Комбинация факторов, которая обеспечила развитие и укоренение английского национализма и дала Англии возможность стать нацией, была, безусловно, уникальной. Вряд ли ее где-нибудь было возможно повторить.

Как же тогда национализму удалось распространиться?

Глава 2. Три идентичности Франции

...За теми же физиономиями я вижу других людей и в той же действительности – другое государство. Форма остается, но внутренняя сущность обновилась. Произошла революция в морали, дух изменился.

Гез де Бальзак

Как же изменилось лицо империи! Как же далеко продвинулись мы в своем развитии, сделав гигантский шаг к свободе. В нынешнее время иностранцы жалеют, что они не родились французами. Мы стоим на голову выше этих англичанишек, которые так кичились своей конституцией и насмехались над нашим рабством.

Камиль Демулен

Вся верховная власть неотъемлемо принадлежит нации. Никакая группа людей или отдельная личность не могут осуществлять власть, если она прямым образом не исходит от нации.

Декларация прав человека и гражданина

Собственно уникальная французская идентичность, осознание того, что «я – француз», существовала веками до того, как она была переосмыслена как идентичность национальная. Эта идентичность стала возможной, благодаря последовательной смене королей, их независимости, ранней (хотя и относительной) централизации власти в их руках. Эти короли в той или иной форме именовались королями французскими. Кроме того, это самосознание очень рано стало озвучиваться в клерикальной среде. В церковных сочинениях французская идентичность первоначально имела религиозный смысл. Впоследствии считаться французом значило осознавать культурную и институциональную уникальность королевского домена. Позднее, при Ришелье, французское самосознание было привязано к понятию государства. Но во все времена оно концентрировалось на персоне короля и основывалось на преданности королю и зависимости от него. Эволюция французской идентичности от религиозной (христианской) до политической (роялистской), лишь с легким налетом религиозности, предполагала пошаговую смену двух самых важных фундаментальных ценностей. (Впоследствии место политической идентичности заняла национальная идентичность.) Христианскую церковь сменил помазанник Божий – французский король, являвшийся старшим сыном этой церкви, а государство (the state), которое потом стало отождествляться с нацией, в свою очередь, сменило французского короля. Каждый раз новая идентичность образовывалась с помощью старой и обретала значимость по ассоциации с ней. Но при благоприятных обстоятельствах новая идентичность нейтрализовала предыдущую и даже, бывало, разрушала ее. Все три идентичности внутренне связаны друг с другом и постепенно перетекают одна в другую. Они представляют собой как бы набор матрешек, каждая из которых включает в себя предыдущую, при этом уничтожая ее. Здесь важно отметить то, что каждая после дующая «матрешка» придает гораздо больше значения тому, чтобы все предыдущее было включено, чем та, из которой она возникла, и к детским играм это уже отнюдь не имеет отношения.

Развитие донациональной французской идентичности. Франция – церковь и вера в «цветок лилии»

Лишь ближе к середине XVIII в. достигли соглашения о том, как правильно писать слово Français. Изначально оно писалось François и произносилось как françoie а потом france на парижском диалекте. В XVII в. Расин отстаивал форму François, столетием позже Д'Аламбер (D'Alembert) считал, что написание «frances» абсолютно точно воспроизводит произношение этого слова, Вольтер же одобрял форму Français, каковая потом и была принята. Слово François, превратившееся потом в Français, стало значить «француз».

Согласно авторам XVI–XVII вв., произошло это слово от названия «франки». Так именовали себя некоторые германские племена, которые в V в. н. э. заняли территорию Римской Галлии, при мерно соответствующую нынешней Франции. Франкская политическая идентичность предшествовала формированию Франции как домена французских королей в течение нескольких веков. И нельзя сказать, что отношение между этими двумя политическими идентичностями было отношением прямой преемственности. Те, кто позднее выстраивал немецкую идентичность, так же, как и те, кто выстраивал французскую, могут назвать своим предком Карла Великого. В IX в., после распада империи Каролингов, восточные франки, чьи потомки впоследствии стали немцами, считали, что территория западных франков не имеет исключительного права называться Francia. И только в XI в. название Francia было закреплено за Francia occidentalis, остальная же, в будущем немецкая часть империи Каролингов, перестала связывать себя с французскими чаяниями и французской идентичностью. С другой стороны, столетием позже название употреблялось только для обозначения центральной части домена – Иль-де-Франса, а для всего королевства в целом употреблялось название Francia Tota. Постоянная идентификация наследственного домена определенной династии (т. е. территории, которую эта династия контролирует, и организованной общности polity, которую она представляет) как Francia – Франции, появляется с 1254 г., когда титул Rex Francorum официально был заменен Rex Franciae. Таким образом, король франкский становится королем французским. При этом короли не очень-то представляли себе размер и точные очертания своей территории; так что этот титул не то чтобы недвусмысленно обозначал четко ограниченное территориальное единство, а скорее претендовал на создание образа такового единства и тем самым помогал формировать реальность. Идентичность народа была не более определенной, чем границы населяемой им территории. В те времена, когда королевский титул претерпевал изменения, франками обычно именовали жителей западной части распавшейся империи Каролингов. И это имя они носили в течение нескольких веков. Но эти новые франки в очень большой степени смешались с галлами и с тем же успехом могли именоваться и галлами. Галлы жили на этой территории еще до нашествия германских племен. В дальнейшем теория франкского происхождения французов подвергалась сомнению, и в качестве предков нынешних французов выдвигали галлов. Во времена Великой французской революции идея галльского происхождения французов ненадолго восторжествовала. Восторг был настолько велик, что некоторые особо достойные граждане требовали запретить само имя «Франция», потому что в нем отражено напоминание об иностранном вторжении и последующем иге. В XI в. арабы Святой земли называли франками (franci) всех европейцев. Впервые на национальных языках стала прославлять «милую» Францию литература времен крестовых походов (например, «Песнь о Роланде»). Но Песнь была написана на англонорманском языке, а не на языке Иль-де-Франса, который впоследствии стал французским, и не ясно, о какой же Франции в ней пелось – об Иль-де-Франсе, французском королевстве или о западном христианстве в целом [1].

Объективно говоря, франки французами не были. Но, определяя свои взаимоотношения с двумя великими силами того столетия – папством и Германской империей, династия Капетингов считала свои земли законно доставшимися им в наследство от франков. Капетинги объявляли себя легитимными потомками франкских королей и императоров, наследниками их традиционной функции защиты церкви и папства. Тот факт, что на Востоке Francis олицетворяли христианство, интерпретировался как доказательство исключительного благочестия французов. Само это благочестие считалось предметом специфически французской гордости. В литературе времен крестовых походов, в *Gesta Dei per Francos* Гиберы Ножантского (Guibert de Nogent) и в «Истории Иерусалима» Робера де Муана (Robert de Moine) франки (*gens francozum*) воплощают собой христианство. Наихристианнейшие франки здесь выступают как «избранный Богом народ», выделяющийся из других народов своей истовой верой и преданностью церкви [2]. В XIII в. Жак де Витри (Jacques de Vitry) повторяет: «Есть много христианских наций, и первая среди них – французы. Они истинные католики» [3]. В конце XIII в. начали публиковаться *Grandes chroniques de France*. Написанные под патронажем французской короны, они давали официальное определение национальной идентичности, таким образом успешно ее формируя. В них отмечались христианское благочестие французов и их особое место в христианском мире, как отличительные черты королевства французского. По иронии судьбы французское благочестие старше французского христианства: «*Même du temps où ils étaient dédiés à l'idolatrie, ils étaient moult observants d'icelle*», даже в язычестве французы отличались редким благочестием [4].

В XII и XIII вв. наследственное франкское превосходство в благочестии рассматривалось как неотъемлемая добродетель и французского королевства, и французского короля. Но именно король считался наиболее ярким носителем этой добродетели. По этой причине французские короли настаивали на своем исключительном праве носить титул «наихристианнейший король» – *le roi très chretien*. В те времена Рим раздавал этот титул достаточно произвольно, по мере своей надобности в тех или иных властителях, что являлось своего рода формой взятки. Тем не менее к концу средневековой эпохи французские короли успешно присвоили себе звание «наихристианнейших», и это звание стало частью французского королевского титула. Относительная сила и влияние Франции в политических делах того времени и постоянная угроза со стороны Германской империи, как Франции, так и папству, часто вынуждали Рим искать покровительства у французских королей. Это привело к тому, что Рим принял требования Капетингов и подтвердил их исключительное положение в христианском мире. Папа объявил, что Господь избрал королевство Францию среди всех прочих народов и практически признал божественное происхождение французских королей. В XV в. папский нунций мягко наставлял короля Карла VII: «Ты по наследственному праву глава Христова воинства. Именно на тебя взирают остальные властители с надеждой на спасение всех. И остальные властители это подтвердили. Ты – первый среди чад Господних. Всевышний – на твоей стороне. Его лик обращен к тебе. Его длань благословляет избранный им народ» [5].

Быть французом в конце Средневековья означало быть особенно ревностным христианином. Хотя практически с самого начала настоятельное требование исключительного положения для французского короля и французского королевства внутри католической церкви вело, пусть и неосознанно, к отделению и даже разрыву с Римом. Французы, в лице своего короля, считали, что раз они – «наихристианнейшие», то Франция имеет право на независимость от папского и имперского вмешательства в их дела, как мирские, так и духовные. Французы – самые истиннейшие католики, что было доказано; а следовательно, они могут общаться с Господом напрямую, минуя его наместника на земле. Папство, в лице Иннокентия III заверило, что в делах мирских никто не имеет власти над королем французским, так же, как и над императором германским. Филипп II Август, однако же, был недоволен тем,

что вышесказанное имеет отношение только к нему и германскому императору. Поэтому, когда Иннокентий III вмешался в его распрю с английским королем Иоанном Безземельным, он заявил, что «феодальные споры не папское суть дело». А в дела мирские французская корона Риму и не давала вмешиваться. В конце XIII в. на почве конфликта с папой из-за налоговой политики Филипп IV Красивый полностью запретил иностранное вмешательство во французские дела. Таким образом, он утвердил свой суверенитет и в делах духовных. Юристы того времени писали, что французский король является «императором своих земель» [6]. В следующем столетии они использовали различные аргументы в защиту суверенной свободы своего короля, апеллируя к очевидному значению слова France – свободная. Слово это не могло не отражать сущности таившейся за ним реальности, то есть оно служило доказательством тому, что Франция никогда не подчинялась чужой власти. Новая точка зрения на возрожденный и творчески переосмысленный салический закон гласила, что Франция со времен языческого младенчества жила по собственным законам. Но самым главным и постоянным аргументом стала религия. В основе своей аргументация восходила к утверждению, что французы – особый народ, избранный для исполнения Божьих заповедей были «святейшего Папы» [7]. Избранность Франции и прямая связь между королевством и Господом воплощались прежде всего и более всего в короле. Из избранного сына единой церкви, король стал центром нового христианского культа, а Франция получила свою отдельную церковь.

Вскоре у этого культа и этой церкви выработался свой ритуал и своя собственная символика. Колетт Боне (Colette Beaune) проследивает процесс перехода благодати и тем самым сакрализацию французских королей через fleur de lys, изначально являвшийся символом Девы Марии. (Французские монархи особенно ее почитали.) Этот символ стал символом французского королевского дома. Вследствие этого, образ Богородицы накладывался на образ французского короля, и между ними устанавливалась особая связь. На короле лежала печать божественности непорочной девы Марии. Культ Богородицы и культ короля были объединены в непорочной лилии, которая в то же время была и королевской, лилия представляла их обоих, и в ней они были тождественны. Считалось, что вся атрибутика, все предметы, используемые при реймской (le sacre) коронации, в той или иной степени имеют божественное происхождение. Коронация в Реймсе была сакральной по определению. Она еще раз подтверждала прямую связь короля Франции с Иисусом Христом. Это всегда осознавалось при начале нового царствования.

В этом и состояла подоплека Столетней войны, каковая для ее участников имела совершенно иное значение, чем это может показаться современному наблюдателю. Здесь был скорее конфликт двух религий, а не двух наций. Для сторонников Валуа двое претендентов на французский трон, члены одной династии, различались не по более или менее обоснованным правам на него, если иметь в виду законность их притязаний и династическую преемственность. Нет – они олицетворяли собой силы света и тьмы, истинную веру и ее сатанинское извращение. Именно вера в короля как в воплощение христианства, и только она, позволила иметь столь колоссальное значение «патриотической одержимости» Жанны д'Арк, в то время как многие не слишком преданные ей соратники не видели ничего дурного в том, чтобы жить под властью английской ветви королевской фамилии. Орлеанская дева выполняла особую миссию – она подтверждала коронацию в Реймсе, то есть сакральность короля [8].

Поскольку Бог избрал французский королевский дом предметом личной заботы, то закон о преемственности королевской власти тоже приобретал религиозную значимость. Благодаря тому, что власть была наследственной, толкование этого закона предполагало, по словам Колетт Боне, «политическое обожествление королевской крови». Это артикулировалось одновременно с расширением культа Христовой крови в латинском христианстве в

целом. Было совершенно очевидно, что Господь выбрал не отдельную личность, народ или землю, над которой он властвовал, а определенный род, династию. Именно поэтому святость, богоизбранность французских королей передавалась через кровь. Отдельные личности, народ и земля были освящены по ассоциации. При этом кровь можно было передать лишь определенным образом. С XIV в., когда из-за притязаний Плантагенетов был пересмыслен салический закон, женщины уже, к примеру, не являлись членами династии в полном смысле этого слова. Можно было канонизировать отдельных королей (как, скажем, Людовика IX) благодаря их заслугам, но большинство французских монархов считались святыми именно по крови, а не по своим выдающимся достоинствам. Сколько же ушло усилий на то, чтобы выяснить, отчего же эта кровь была столь могущественной. И на французском престоле проблема крови существовала постоянно и бесконечно, хотя и под разными именами франкских королей и императоров из династии Валуа. Кровь должна была быть «чистой» в двух смыслах: ей следовало быть другой консистенции, чем у обычных смертных, и, скорее прозрачной и светящейся, чем темно-красной. Кроме того, она должна была быть безупречно легитимной, освященной таинством церковного брака. Среди французских королей не могло быть бастардов. По этой причине измена или даже подозрение в ней, столь же нередкие у французских королей и принцесс, сколь и у женщин любого другого королевского дома, считалось предательством и святотатством. Политическая и религиозная сферы были слиты воедино. В XIII в. человека, который возводил хулу на короля, обвиняли в богохульстве и в оскорблении святости. С другой стороны, можно предположить, что множество законодательных актов, запрещающих богохульство и святотатство во времена от Филиппа Августа до Людовика IX, явилось лишь ранней стадией раз вития понятия *lèse-majesté* (оскорбление Величества) [9].

Королевская кровь считалась, что очень показательна для наших целей, кровью Франции, как в выражении «На стороне короны была вся кровь Франции, то есть грансьеры» [10]. Принцы крови (наиболее высокий аристократический ранг) были «принцами Франции». Они являлись членами священного рода и по праву крови участвовали в управлении королевством. Тем не менее принцев крови от управления систематически и успешно отлучали. К XVI в. пышный титул уже мало что значил, принцы попали в ситуацию сильнейшей статусной неопределенности и это вызывало у них открытое недовольство. Широко известен радикализм членов королевской семьи – им отличались даже братья царствующего монарха, которые традиционно участвовали в мятежах. Тот факт, что они были принцами крови, их отнюдь не удерживал, а наоборот подстегивал, поскольку на королевской крови лежало табу и проливать ее было нельзя. Поэтому в то время как их соратников часто изощренно пытали и жесточайшим образом казнили, принцы отделялись сравнительно легко [11]. Они представляли собой постоянную и яркую оппозиционную группу, противостоящую расширяющейся централизованной (абсолютной) власти короля, и естественно становились вождями более широкой оппозиции.

Поскольку французская королевская династия была сакрализована, то служба и верность королю непременно приобретали религиозный смысл. Смысл состоял в христианском благочестии. Французское общество объединял и создавал культ, а, следовательно, церковь. В силу того, что это была своего рода христианская церковь, король, выдвигавший и формулировавший свои требования по части верноподданничества, опирался на западно-христианскую традицию. Словесная демонстрация специфически французской преданности королю существовала во Франции еще с XIV в., и в практически неизменном виде перешла во французский патриотизм. Те же выражения, только менее цветистые и более церковные, использовались при традиционной демонстрации христианского благочестия. Французской монархии придавался религиозный смысл, поэтому защита короля (*defenso regni*) имуществом или жизнью и служба королю приравнивались к служению Богу. Кроме того, и гораздо

более определенно, чем в других странах, это была форма религиозной практики в соответствии с принципами христианского альтруизма – служение Господу через служение Его избранникам.

Средневековый amor patriae – патриотизм был в основе своей христианским чувством в обоих вариантах – и когда patria осмыслялась как «рай», и когда это относилось к месту рождения. В Средние века patria только в редчайших случаях обозначала государство, королевство в целом. На военную службу, в частности, смотрели как на продолжение крестовых походов. Умереть за свою страну – считалось делом святым и благочестивым. Особенно это подчеркивалось в эпоху Столетней войны. Земная patria, была освящена по религиозной ассоциации и впоследствии могла стать и стала королевством и источником сакральности сама по себе.

В отношении папства и Германской империи короли проводили постоянную политику. Эта политика в сочетании с тем, что корона поощряла расширение культа короля и одобряла участие в этом культе, создавала из Франции отдельное, уникальное единство. Она послужила толчком к зарождению специфически французской идентичности – осознания своей принадлежности к данному единству и принятия его характеристик – и специфически французской преданности, патриотизма – верности данному единству. Изначально религиозная по существу и олицетворяемая королем и королевским родом, Франция постепенно приобретала иные культурные и институциональные черты и становилась образом, самостоятельным образованием, чье существование, хотя и смешавшееся с существованием короля и королевского рода, тем не менее полностью с ним не идентифицировалось.

Наиболее важными отличительными характеристиками французов, наряду с их супер-благочестием, были французский язык, французское превосходство в учености и в литературе, французское право и строй французского общества. Выбор этих характеристик был неслучаен и не являлся результатом простого эмпирического наблюдения. Начать с того, что некоторые из них уж точно не были характеристиками ни территории, ни населения. Но поскольку часть этих характеристик, а именно закон и структура (общественный строй), не могла относиться исключительно к личности короля, то неизбежно их выразителями становились земля и народ. Все эти черты, однако, находились внутри широкого спектра признаков французской специфичности, но именно они были одобрены, отобраны из этого спектра и творчески переосмыслены, ибо они были сильными или потенциально сильными сторонами французской культуры и могли быть использованы во взаимоотношениях Франции с другими державами.

Язык

Уже в XIII в. гордость французским языком имела словесное выражение. По мнению авторов этого периода, французский был «самым красивым языком в мире», «сладчайшим», *la plus déli table à ouir et à entendre* – «наиболее приятным для голоса и слуха». «Сладкий французский язык, – самозабвенно заливались они, – суть самый красивый, изящный и благородный язык в мире. Его больше всех любят, и ему легче всего научиться. Ибо сам Господь сделал его столь сладким для прославления Имени Своего и хвалы. Он сравним только с тем языком, на котором ангелы говорят в раю». Бедность этого языка, которую признавали тогдашние переводчики, бывшие в числе его главных апологетов, привела к тому, что они стали вводить в него многочисленные латинизмы. Но это ничуть не умерило пыл патриотов от языкознания. Оды французскому языку продолжали появляться – иногда на латыни – как в случае Жеана де Монтрейля (*Jean de Montreuil*), который полагал, что превосходство французского над другими европейскими языками, в особенности над английским и немецким, заключается в его чистоте и оригинальности. Французский, по его мнению, не испытал чужеродного влияния, которое испоганило упоминаемые выше языки, поэтому он в совершенно определенном и достаточно забавном смысле отличался от немецкого и воспринимался как *Ур-язык*.

Энтузиастов не смущал и тот факт, что воспеваемый ими французский не был языком Франции. На нем говорили в Париже. Это был «парижский французский», по происхождению являвшийся франкским языком, на котором говорили во *Francie* и на землях между Соммой и Луарой. В X–XI вв. эти земли составляли домен графов Парижских – родоначальников Капетингов. На нем не говорили и длительное время не писали во всей остальной Франции. В XI и XII вв. письменность, согласно Сюзанне Ситрон (*Suzanne Citron*), была в основном на англо-норманском. А с XIII по XV вв. авторы писали, соответственно, на Пикардийском, Шампанском или Бургундском, в зависимости от провинции и от их родного диалекта.

В то же самое время, начиная с XII столетия, парижский французский становится международным языком высших классов, что и позволяет некоторым авторам сделать вывод, что он был всеобщим языком (*commune à totes gens*). Уже в 1148 г. тот, кто не знал французского, считался варваром. Французский был языком Восточного государства крестоносцев, а в XIII в. на нем говорили при дворах Англии, Германии и Фландрии. Он также стал литературной нормой для многих писателей, живших за пределами Франции. Колетт Боне называет Брунетто Латини (*Brunetto Latini*), Мартино да Канале (*Martino da Canale*), Марко Поло (*Marco Polo*), Филиппа де Новаре (*Philippe de Novare*) – итальянцев, которые писали на французском.

Однако став языком высших классов, парижский французский вступил в соревнование с латынью – языком священных текстов. В течение длительного времени латынь также оставалась языком науки и права и нормой вежливого дискурса. В 1444 г. Жеан Д'Арманьяк (*Jean d' Armagnac*) предпочел вести переговоры с англичанами на латыни, признаваясь, что он «недостаточно владеет французским языком, особенно письменной речью». Ренессанс внес свой вклад в повышение престижа и оценки латыни, так что к окончанию Средневековья вряд ли кто сомневался в том, что никакой другой язык ее не заменит.

Языковая политика короны была недостаточно последовательной. В то время как Филипп Красивый на севере Франции сделал французский языком официальных документов, на юге чиновники все еще использовали латынь. И только через 200 лет, указом Вильгельма-Коттре (1539) при короле Франциске I, французский стал языком всех официальных мероприятий. И еще одно столетие потребовалось для того, чтобы Людовик XIII Бурбон

в кодексе Мишо 1629 г. декретировал обязательное использование французского при регистрации крещений, браков и похорон.

Во времена Средневековья население Франции говорило по крайней мере на пяти языках (лангедойском, лангедокском, баскском, бретонском и фламандском). У некоторых из этих языков существовали достаточно значимые диалекты. Парадоксально, но отсутствие языковой общности, а именно собственно французского языка, было скорее предметом гордости патриотов от языкознания. Данного факта они совершенно не стыдились, считая, что он ярко свидетельствует о внушительной величине королевства, которое столь выгодно отличалось от смехотворно малюсенькой Англии с ее всего лишь одним языком [12]. Тем не менее подобное положение ничуть не помешало тому, что парижский французский представляли и называли всеобщим французским языком. А с XIV в. в атмосфере растущего уважения к «родным языкам» он стал объектом пылкой любви ученых и литераторов – людей, которые создавали символы коллективной идентичности. В результате язык стал центральным символом французской идентичности и в конце концов объективной характеристикой французского этноса.

Translatio Studii

Убеждение во французском культурном превосходстве тоже, очевидно, зародилось в умах кучки ученых мечтателей. Зиждилось оно на статусе Парижского университета в средневековом ученом и литературном мире и на понятии «Translatio studii». Парижские школы, которые числились среди наиболее знаменитых теологических центров Запада, в начале XIII в. объединились в университет. Преподавание велось на латыни, а студентов и профессоров набирали из всех угол ков западного христианского мира. Университет был очень популярен, многие выпускники его стали потом принадлежать к высшему духовенству, как родному, так и иностранному. И выпускники разносили славу своей Alma Mater по всему миру. Понятие Translatio studii, то есть перенос обучения из центров классической античности в Париж, отражало главенствующую позицию Университета в respublica Christiana. Париж становился прямым наследником Афин и Рима, подразумевалось, что он стал новыми Афинами и Римом. Но, будучи наследником Рима и Эллады, Париж все же принадлежал другой культуре. Сильной стороной Парижа была, скорее, теология, а не философия и математика – как в Афинах, или право – где блистал Рим. Упор на богословие как на главную мощь Парижского университета еще более усилил коллективное самовосприятие Франции в качестве оплота наивысшего христианского благочестия. Университет отражал суть королевства, в котором он был возведен. Но одновременно возникла и другая тенденция – в связи с растущим напряжением между Францией и папством ученые стали считать университет и, соответственно, самих себя средоточием мудрости, которая была скорее христианской во французском варианте, чем общехристианской. До конца XIII в. они были полностью преданы королю и университету, который называли *filie du roi* – «дочь короля». Понятие *translatio studii* приобрело новый важный смысл. Оно уже не означало, что процесс обучения перешел в христианское учреждение – Парижский университет, каковому повезло стать наследником почитаемой, но языческой античности, скорее, произошла смена культурного лидерства – от Греции и Рима эстафету приняла Франция. Но вместе с тем, определение французской культуры как культуры преимущественно теологической тоже изменилось. Итальянские гуманисты оспаривали мнение, что культура – это прежде всего религия и обучение теологии. На первое место они ставили поэзию и риторику. Парижские академики смотрели на ученый и литературный мир глазами итальянских гуманистов и жаждали доказать, что и в сферах мирских Франция тоже находится на высоте, а то еще и повыше иных-прочих. В XIV в. светская литература существовала лишь в зачатке. Соревнование скорее подстегивало, чем обескураживало французских интеллектуалов. Действительно, тогда мало было собственных гениев, способных сравниться с Данте и Петраркой. Но на этой едва занимающейся заре современности мечта о культурном превосходстве приобретала характер уже свершившегося дела.

Салический закон

Язык и лидерство в литературе, бывшие предметом донациональной гордости французов, остались предметом уже национальной французской гордости вплоть до наших дней, правда, в измененном виде. Две остальные отличительные французские черты – салический закон и государственная конституция свое значение в основном утратили. Салическая правда (салический закон) – один из многочисленных германских законов, был принят в начале VI века. Он приобрел исключительную важность в Столетнюю войну. Его знали, но вспоминали о нем редко, пока к власти не пришел Карл V. Тогда, в поисках законного обоснования незаконности притязаний английских Плантагенетов на французский трон, его вспомнили и представили в качестве доказательства их беззакония. Случай был довольно сомнительный. В оригинале закон прямо не лишал прав на наследование лиц женского пола, и было неясно, относился ли он вообще к членам королевского рода. Но монархии, которая имела намерение доказать свою традиционную независимость от вмешательства других сил, и все больше при защите своих позиций полагавшейся на юристов, кое-какие вещи в этом законе были очень привлекательны. Во-первых, его древнее происхождение во времена Фарамонда I Меровинга, родоначальника французских монархов. Принят он был при язычниках и без всякого влияния Рима. Это убедительно доказывало юридическую независимость и зрелость королевства с самого его основания. Юристы обожали этот закон, потому что им хотелось в нем видеть лестное для них указание на то, что во Франции рано существовал Parlement, поскольку считалось, что Фарамонд, составляя его, пользовался советами некой группы мудрецов. В XV в. переосмысленный салический закон стали считать самым важным законом королевства, залогом династической преемственности и легитимным обоснованием божественного происхождения французских королей. Это неизмеримо подняло его значение. Защищать салический закон значило «сражаться за свою родину, как римский солдат» – классическое выражение классического патриотизма [13].

Образ Франции

Кроме новой интерпретации салического закона, ученые-схоласты XV в. размышляли также над неповторимостью и превосходством французского общественного устройства (*politia nostra*) [14]. Члены этого общества: король, парламент, 12 пэров и три сословия трудились в согласии под властью закона во славу Господа и на общее благо. Земля французских королей, чьи обитатели были объединены общим поклонением королю, у некоторых из них стала вызывать восхищение сама по себе. Чем же можно было восхищаться? Замечательные качества земли были сначала сакрализованы по ассоциации с наихристианнейшими королями, но когда она уже прошла сакрализацию, эти качества стали самостоятельным объектом обожания и поклонения. Франция как некое единство, как страна, как общество, рано стала предметом нежного и глубокого чувства, хотя и очень немногими испытываемого. Свою любовь к Франции поэты XII в. выражали в чудесных песнях (*chansons de geste*). Один из них вопрошал, как мог Христос избрать своим пристанищем пустыню Святой земли, когда у него был выбор между нею и Францией:

Merveille moi de Dieu le fil sainte Marie
Qui chi hebergea en ceste desertie...
Miex aim d'el borc d'Arras la grant castelerie
Et d'Aire et de saint Pol la grant caroiere
Et de mes biaux viviers la riche pesherie
Que tote ceste terre...

Францию воображали и некой личностью – сначала это был только голос (*Ouadrilogue investif*) Алэна Шартье (*Alain Chartier*) – а потом она стала красивой женщиной, *Dame France*, белокурой принцессой в одеянии, изукрашенном *fleur de lys*. В начале XIV в. Францию изображали в образе сада, земного рая, *le jardin de France*. Этот образ был секуляризован в XV в., или можно сказать, что изменилась сущность его сакральности. Он стал символом необыкновенной красоты и изобилия французских земель. «Франция – украшение всей земли, – писал в 1483 г. канцлер Жан Машлен (*Jean Masselin*). – Никакие другие страны не сравнятся с красотой нашей страны, плодородием ее почв, с ее животворным воздухом» [15].

Итак, для ученого, юриста, новоиспеченного аристократа быть французом в XV в. значило уже больше, чем просто быть подданным «наихристианнейшего» французского короля и выполнять религиозные требования, подразумеваемые данной идентичностью. Быть французом значило еще и говорить или писать по-французски или, по крайней мере, высоко ценить этот язык, следовать культурным античным традициям, уважать салический закон и гордиться устройством общества, на нем основанном. Привязанность к французской земле, чье совершенство должен был осознавать каждый еще до того, как передвигаться по ней стало удобно и доступно, была скорее воображаемой. Тем не менее ключевой фигурой, источником французской идентичности оставался король, высший жрец уникального религиозного культа. Человек становился французом через свое отношение к «наихристианнейшему» королю. Даже если человек идентифицировал себя с территорией, территория рассматривалась как нечто, принадлежащее короне, а корона имела специфически религиозное значение. Ничто французское не могло тогда существовать вне этого отношения. Таким образом, это не было национальной идентичностью. В XVI в. ситуация начала меняться.

Ересь и ее дитя. Традиция и новаторство во французском патриотизме XVI в.

К началу нового века традиция выкристаллизовалась окончательно. В первой его половине, казалось, все служило на пользу развивающемуся чувству французской идентичности. Ею гордились. Она артикулировалась все более ясно и отчетливо. Существующее чувство потребовало адекватного ему словаря. В Средние века латинское слово *patria* потеряло свое дополнительное значение главного объекта гражданской преданности и гордости, которое оно имело в классической системе ценностей. В этом благородном значении его использовали только в отношении благословенного царства Господня. Во всех остальных случаях оно в прямом смысле обозначало место рождения – *paus natal*. Слово *patria* употреблялось часто, и в связи с тем, что французский язык получил более широкое распространение, оно офранцузилось и стало писаться *patrie* [16]. В первой половине XVI в. – еще один пример из Ренессанса – *patrie* сохраняла все свои классические коннотации. Обозначая общность в целом, она снова служила референтом самых благородных чувств, и в этом смысле это слово использовалось уже в двадцатых годах XVI века. В сороковых годах оно стало постоянным элементом дискурса. Служить родине (*patrie*) считалось в высшей степени почетным и похвальным делом. Пьер де Ронсар (Ronsard) утверждал, что «человек должен отдать все – даже саму жизнь, если *patrie* потребуется его помощь и поддержка». Жоашен дю Белле, сочиняя свою *Deffence et illustration de la langue françoise* (1549), считал, что «этот труд – (его) долг перед Родиной, и что подвигла его на эту работу естественная любовь к *patrie*» [17]. Из-за латинского происхождения и, очевидно, заимствованной природы новые ценности некоторым людям пришлось не по вкусу. Шарль Фонтен (Charles Fontaine) около 1550 г. ругал дю Белле: «Тот, у кого есть собственная страна (*paus*) никогда не будет иметь ничего общего с *patrie*. Само слово *paus* пришло к нам из Греции, и все поэты древней Франции использовали его в этом значении. Слово же *patrie* пришло к нам кривыми путями, появилось сравнительно не давно, как и все прочие итальянские мерзости. Древние отказывались пользоваться этим словом, опасаясь латинских происков, и довольствовались тем, что уж точно было своим собственным» [18]. Но адепты *patrie* (дю Белле в том числе) так же защищали независимость и престиж французской культуры, как и их противники. Главная задача их трудов состояла в том, чтобы убедить и самих себя, и весь остальной мир, что французская культура, по крайней мере, равна античной и тогдашней итальянской (которая была прямой наследницей античности). А итальянская культура в то время убедительно доказывала свое превосходство.

Патриотизм первой половины XVI в. был менее революционным по своему словарю, чем это могло бы показаться. Во-первых, преданность и служение *patrie* были очень тесно связаны (фактически идентичны) с верностью монарху. В текстах они часто оказываются рядом, даже в одном предложении, и служба властителю обычно упоминается первой. Во-вторых, защищая честь французской *patrie*, авторы подчеркивают традиционные достоинства «наихристианнейшего королевства». Таким образом, новая реальность в ренессансном дискурсе никак не проявляется. Восприятие реальности слегка изменилось – это, несомненно, чувствовалось, но это чувство не имело выражения и осознавалось достаточно смутно. Изменение состояло в том, что любовь к родине предполагала деперсонализацию традиционной верности, кроме того, верность переставала быть христианской.

Наихристианнейшие французские монархи, старшие сыны католической церкви, медленно, но верно освобождались от ее материнской заботы. Узы, которые их связывали с так сказать *respublica Christiana*, если ее можно представить как нечто другое, нежели чем свободную федерацию отдельных государств, постепенно слабели. В 1516 г. Болонский кон-

кордат фактически, хотя и неофициально, сделал короля Франции главой галльской церкви. Целеустремленные Валуа не только получили независимость от внешнего вмешательства, но и во внутренних делах королевства они добились неограниченной власти, лишив своих подданных-феодалов того, что они (феодалы) считали своими конституционными правами. Военные и экономические начинания двух монархов из ангулемской ветви (Франциска I и Генриха II) потребовали огромной реорганизации административного аппарата. Количество профессиональных чиновников резко выросло. Управление во Франции и так было централизовано в течение достаточно длительного времени. Теперь же централизация увеличилась до предела, и способность могущественных аристократических родов влиять на формирование королевской политики свелась почти к нулю.

В процессе реорганизации понятие *the state* – государство (*état*) начало приобретать свой современный смысл. Изначально оно произошло от слова *estate* в значении сословия. Король представлял собою первое сословие в структуре французского общества, согласно юридической конституционной мысли того периода, запечатленной, возможно, в *Grande monarchie* Клода де Сешеля (Claude de Seyssel) [19]. Каждая земля была субъектом права, и поскольку правом короля, королевской прерогативой, было право власти, понятие *the state* (государство), употребляемое по ассоциации с королем, также символизировало власть или систему власти. Слово было использовано в 1595 г. как полный синоним того, что Макс Вебер называет системой легитимного принуждения. Его употребил Пьер Шаррон (Charron), который, как и Вебер, видел в организации властных отношений главную составляющую любого общества. «*The state (l'état)* как принуждение, особый порядок приказа и подчинения есть опора, суть и душа всякого человека. Это бессмертный дух, который вселяет в людей жизненную силу и одушевляет мертвые вещи» [20]. Королевский совет теперь стал называться *conseil d'état*, а четыре *secrétaires du roi* при Генрихе II получили звания *secretaries d'état*. Возможно, таким образом, подчеркивался абстрактный аспект королевской власти. Благодаря этому, а также по ассоциации с королем, *the state* получило значение *the government* (управление) и *the sphere of politics* (сферы политики) [21].

Профессиональные чиновники постепенно заменяли в управлении «старую» знать. Екатерина Медичи, которая правила государством, пока ее сыновья были несовершеннолетними, больше полагалась на чиновников, чем на вельмож. Она учредила должность суперинтенданта финансов и интендантов по провинциям. Это служило беспрецедентным источником раздражения для старой аристократии. Продажа должностей и аристократических титулов, начавшаяся при Франциске I, также подрывала статус знати. Аристократия укреплялась каким-то образом за счет притока *novi homines* (новых людей, выскочек), но старая знать видела в этом оскорбление для себя, что и служило главной причиной недовольства. Аристократы считали, и не без оснований, что увеличение численности высшей знати в результате того, что король поощрял проникновение низкородных чиновников и богачей в их аристократическую среду, связано с концентрацией власти в руках у короля. И они противились этому так же, как отвергали богачей и чиновников.

Между 1494 и 1559 гг. большая часть провинциальной знати участвовала в войнах с Италией. Служба в армии была не только благородным делом, для многих она еще была и экономической необходимостью. Заключение мира лишило их важного источника дохода, и они пополнили ряды недовольных. К 1560 г. недовольство стало всеобщим. На собрании Генеральных Штатов и в этом, и в последующем году и аристократия, и третье сословие озвучили свои чувства и объявили корону причиной своих несчастий. Оппозиция осмелела. Генрих II умер в 1559 г., оставив управление страной на малолетнего Франциска II, который через год тоже скончался. Трон достался другому ребенку – Карлу IX. В этих обстоятельствах смелость не была особо рискованным делом. Не выдержав умелой дипломатии коро-

левы-матери Екатерины Медичи, а воз можно, благодаря ей, власть неожиданно стала предметом, открытым для посягательств.

Монархия находилась в кризисе. И кризис еще более обострился в связи с быстро изменяющейся религиозной ситуацией. Недовольство испытывали широкие круги французского общества и это заставляло их обратиться к протестантизму. К различным слоям городского населения – главному оплоту гугенотов после мирного договора Като-Камбрези (1559) – примкнула значительная часть аристократии. К 1562 г. во Франции насчитывалось 2000 кальвинистских церквей. Распространение кальвинизма давало другой группе не довольных законную мишень для нападков, кальвинистов можно было обвинить во всех своих несчастьях и выместить на них свою злость. Уже в шестидесятые годы XVI в. появляются местные католические лиги, а в 1576 г. они объединились в Священную Католическую Лигу. Во главе ее встали герцоги Гизы. Недовольство, спровоцированное централистской политикой короны и увеличивающимися экономическими трудностями значительных слоев населения, вылилось в религиозный конфликт. Во всяком случае, лидеры обеих партий сожалели о добром старом феодализме, но вместо того чтобы открыто нападать на монархию, которая все еще была неприкасаемой, они ввязались в жесточайшую гражданскую войну. Она продолжалась почти 40 лет (1562–1598), и обе стороны заявляли, что они защищают истинные интересы короля от дурных советников, шумно требуя, чтобы на троне сидел законный наследник. Вокруг этой ситуации действительно возникло много шума, поскольку здесь были все более за мешаны сложные и тонкие обстоятельства, связанные с природой французской идентичности. Двое из троих последних, немощных Валуа умерли один за другим, а третьего убили бездетным, но он успел назвать своим преемником вождя гугенотов и своего дальнего родственника Генриха Наваррского. Как было поступить? Назвать ли королем Франции француза, действительно истинного наследника трона по легитимной линии, согласно салическому закону, но не католика, или отдать этот трон иностранцу, верному священной религии наихристианнейшего королевства? Реформация, имевшая широкий отклик во Франции, хотя и способствовавшая усилению французского католицизма, нанесла непоправимый ущерб католическому самовосприятию страны. Французский католицизм с течением времени становился все более идиосинкратическим, и короли, носящие титул Rex Cristianissimus, делали все от них зависящее, чтобы отделиться от всеобщей церкви и ее Римского главы. Но эта настойчивая декатолизация никогда не проявлялась явно. Скорее уж Папу обвиняли в недостатке истинной веры. Французский католицизм был безупречным по определению. Говорилось, что французы никогда не знали, что такое ересь. Теперь же им это было даже слишком хорошо известно. Когда новое учение в 1519 г. впервые достигло Франции, наихристианнейший король Франциск Первый довольно лениво поиграл своими католическими мускулами. В 1521 г. он запретил публикацию лютеранских текстов, но битвы Рима он своими не считал. Однако позднее, когда ситуация, казалось, стала выходить из-под контроля и антикатолические прокламации стали предметом огорчения для граждан Парижа, он начал преследовать протестантов всерьез. Генрих II продолжил высокомерную политику своего отца. Два этих сильных короля не могли себе представить и, собственно, никогда и не испытали на деле бунт против своей власти, поэтому они считали, что им достаточно просто рассказать своим подданным, в чем состоит этих подданных, истинная идентичность. Вдова Генриха II Екатерина Медичи уже так не считала. Она сознавала слабость и свою, и своих несовершеннолетних сыновей. Королева-мать благоразумно ослабила гонения на гугенотов. Как бы ни было огорчительно для почитателей Дюма расставаться с неотразимым образом королевы-отравительницы, вдохновительницы резни Варфоломеевской ночи, следует отметить, что в ее царствование гугенотам делались систематические уступки. Корона вообще не симпатизировала католической реакции, и последний Валуа,

бессильный, увы, по воле самой судьбы, столь во многих отношениях, распустил Лигу в напрасной попытке уничтожить ее влияние.

Внушительное меньшинство подданных Франции во всех социальных слоях было еретиками. Это, как сказал бы Оливер Кромвель, было «уже хорошо» Но, тем не менее они были французскими подданными. И, таким образом, во второй половине XVI в. прежде центральный – религиозный – элемент во французской идентичности стал систематически принижаться гугенотами, короной, галльскими католиками и *politiques*; только Лига, единственная, усиливала свой католицизм за счет французскости. Французскость противостоящих сторон подчеркивалась, и к ней взывали, невзирая на расхождения в вере. «Французы не должны относиться к другим французам так, как будто они не французы, а турки, – умоляла королева-мать, итальянка. – Между ними должна быть братская любовь и согласие». Генрих III, который после смерти брата срочно вернулся из Польши, где был королем, чтобы предотвратить вполне возможную узурпацию трона, объявил: «Я пришел к вам с распростертыми объятиями. Я принимаю под свое крыло всех своих подданных без исключения». В 1589 г. вождь гугенотов Генрих Наваррский взывал к нему: «Во имя всех я молю о мире Повелителя моего Короля, о мире для меня, для французов и для Франции». Уже, будучи королем Генрихом IV, приняв католичество из соображений политической благонадежности, согласившись, что «Париж стоит мессы», он сказал своему народу: «Я взываю к вам как к французам. Я не разделяю ничьих пристрастий. Я не слепой и все ясно вижу. Я хочу, чтобы все верующие в моем королевстве жили в мире, независимо от своей веры, пока они верно служат мне и французской короне. Все мы французы и граждане одной и той же страны» [22]. Таким образом, французская идентичность была определена заново. Но это был результат дефолта, поскольку из нее был вынут центральный элемент. И тем не менее она была определена не до конца, поскольку было непонятно, что же займет его место.

Франция – мать

Католические *politiques* считали, что положение, в которое попало Лига – абсурдно. *Dialogue du maheustre et du manant*, вышедший в 1593 г., представлял сложившуюся ситуацию верхом бессмысленности: «Если Богу будет угодно дать нам короля-француза – да будет так; если Лоррена – да будет так; если – испанца – да будет так. Лишь бы он был истинным католиком и посланцем Господа, тогда нам будет безразлично, к какой нации он принадлежит. Нас не волнует нация, нас волнует религия» [23]. Для *politiques*, так же, как и для многих других, вопрос о «нации» имел решающее значение, к религии же они относились все более индифферентно. Под нацией понималась общность по месту рождения. Франция определялась как источник этой общности, и в этом качестве она и была предметом обожания патриотов. Они персонифицировали ее в виде женщины и матери с истерзанным телом и душой, израненной религиозными распрями ее детей, детей, которых она породила в буквальном смысле этого слова. Авторы-современники постоянно изображали Францию как кормящую мать.

France, mère des arts, des armes et des loix
Tu m'as nourry long temps du lait de ta mamelle,[24]

Франция, мать искусств, военного дела и законов
Ты долго вскармливала меня молоком своей груди.

Забота патриотов о Франции прямо вытекала из их сыновнего к ней отношения. Жерар Франсуа (*Gérard François*), врач Генриха IV (в этом контексте название его книги *De la maladie du grands corps de la France* («Болезнь великого тела Франции») выглядит до вольно забавно), писал в посвящении королю: «Сир, поскольку Господь сделал меня и по имени и по рождению истинным французом (*vrai François*) и, следовательно, преданнейшим защитником блага моей *patrie*, находящейся сейчас в столь тяжком положении, то я предлагаю ей свою всемерную заботу и поддержку, каковую каждый сын должен естественно оказывать своей матери» [25].

Этот вид патриотизма, парадоксально принявший форму сыновнего обожания, явился в какой-то степени результатом религиозных войн. Он имеет мало общего с национализмом – по определению, данному ему в настоящей книге. Франция – верная дочь католической церкви, становилась матерью своему народу, но отнюдь не *the nation* (нацией). Окончательная трансформация идентичности произойдет двумя столетиями позже, но в каком-то смысле XVI в. ее предвосхитил.

Доктрины народного сопротивления

Религиозный конфликт послужил почвой для развития конституционных, религиозных учений с явственно националистическим оттенком. Хотя создатели этих учений не дошли до выводов, позволяющих назвать эти доктрины полностью национальными, однако они продвинулись в том, чтобы определить Францию как суверенную коллективную общность. Авторы-гугеноты в основном разрабатывали апологию борьбы с правящим монархом. В эту борьбу гугеноты были насильственно ввергнуты. Кальвинизм предписывал своим последователям пассивное неподчинение неправедным властителям и даже раз решал сопротивляться низшим чиновникам (магистратам) [26]. Важно то, что аргументы, выдвигаемые авторами-гугенотами, носили скорее конституционный, чем теологический характер. Основания для законной оппозиции, подчеркивали они, коренятся в конституции французского королевства, а не собственно в неправедной власти. В двух наиболее важных работах этого рода, «Франкогаллии» Франсуа Отмана (Hotman) и в *Vindiciae contra tyrannos*, приписываемой Дюплес-си-Морне (Duplessis-Mornay), доказывалось, что общность наделена суверенной властью и неотчуждаемым правом бороться с неправедным властелином, этой власти не признающим или не выказывающим к ней уважения [27]. Отман использовал исторический подход. Он реконструировал древнюю конституцию королевства и пришел к следующим выводам: королевская власть во Франции была делегирована короне свободным сообществом франков и галлов, которые вместе выбирали короля. Преемственность регулировалась обычаями. (Отман не считал, что салический закон в то время так уж много значил). И таким образом, она всегда была предметом негласного соглашения и, в определенном смысле, власть была наследственно-выборной. Народ никогда не отказывался от своей верховной власти или от права контролировать властителя. Этот контроль в древние времена осуществлялся государственным советом (королем, чиновниками, аристократией и народом, которые представляли общность в целом). То есть, французское государство (polity) по природе своей изначально строилось как ограниченная монархия, и притязания короля на абсолютную власть, были ничем иным, как узурпацией. По этому борьба с властителем-автократом, вполне соответствовала за конам французского государственного устройства. Автократ навязывал свою волю народу без его (народного) согласия – для гугенотов это было очень важно. Король для них не являлся необходимым элементом общности. Отман настаивал в манере, сильно напоминающей Джона Пойнета, что «народ может существовать и без короля, в то время как короля без народа даже и представить себе невозможно» [28]. Но между автором «Франкогаллии» и его английским современником были фундаментальные различия. Отман приписывал общности функцию короля и Бога. Для него она была не сообществом живущих индивидуумов, а живым организмом, обладающим собственной волей и духом. Дух этот воплощался и выказывался в конструктивной решимости этого живого организма. Состояние этого существа отражало его при роду, и поэтому его надо было ревностно сохранять, если не по форме, то по содержанию, невзирая на воли личностей, его составляющих. Для самого организма эти личности были не более чем случайны.

Дюплесси-Морне также рассматривал строение данного общества. Он считал, что правление без добровольного согласия (особенно в делах религиозных) является предательством по отношению к религии. Он постулировал существование двойного договора – во-первых, между Господом, с одной стороны, и королем и народом, с другой стороны. В этом договоре подтверждалась божественная санкционированность королевской власти. Во-вторых, был договор между королем и народом, который должен быть осуществлен в виде праведного правления, то есть правления в соответствии с конституционными правами на рода, и это было условием королевской власти. Дюплесси-Морне подошел ближе к той мысли, что

каждый подданный имеет право противостоять не праведной и несправедливой власти, но на этом и остановился. Он считал, что правом противостоять тирании и контролировать ее должны быть наделены магистраты, а не Генеральные Штаты, но право это все же принадлежало магистратам как официальным чиновникам, которые олицетворяют законы данной общности, то есть у отдельных личностей такого права скорее не было. Только общность, или корпоративные организации, из которых она состояла, могла восставать против высшей власти, на которую она (общность) коллективно согласилась. Право же отдельных личностей на протест означало для него анархию или даже худшее зло. Если признать за отдельными личностями такое право, то «воспоследуют неисчислимые беды, более ужасные даже, чем сама тирания. И под предлогом свержения тирании на месте одного тирана поднимется тысяча других» [29]. В общем одного лишь протестантизма не хватало, чтобы взрастить уважение к личности.

Божественное право королей

После смерти герцога Алансонского в 1584 г. – еще одного из трех несчастных братьев Валуа – гугенот Генрих Наваррский стал очевидным наследником французского престола. Положение гугенотов изменилось, и с тех пор они занимались тем, что доказывали легитимность Генриха как короля. Тогда же и по тем же причинам, изменилась ситуация и для сторонников Лиги. Они ощущали себя в опасности из-за того, что ими правит еретик. Поэтому Лига взяла на свое вооружение доктрину народного сопротивления несправедливой (безбожной) власти в тот самый момент, когда гугеноты от нее отказались. Но ультрамонтанские связи и предпочтения Лиги, так же как популистская и откровенно демагогическая тактика ее вождей, оттолкнули от себя скромных католиков, в большинстве своем принадлежащих к галльской католической церкви [30]. В итоге оказалось, что Лига опять в одиночестве борется за проигранное дело. В конце XVI в. Франции было ни до чего, хоть скольнибудь напоминающего популизм. Ни о каком сопротивлении страна даже и не помышляла. Тем не менее идея, которая пришла на смену этим подрывным доктринам, идея, доминировавшая во французской политической мысли в течение следующих полутора столетий и внешне прямо противоположная каким-либо популистским теориям, – эта идея парадоксальным образом тоже мостила путь французской идентичности. Она заключалась в божественном праве королей.

Толчком к возникновению теории Божественного права по служил опыт религиозных войн, и в результате она сложилась в стройную и морально непротиворечивую систему, некоторые элементы ко торой развивались самостоятельно, но тоже как-то соотносились или, по крайней мере, были усилены этим опытом. Популистская тактика Лиги и внушительная демонстрация народного аппетита относительно свободы определенного толка убедили многих дворян в необходимости иметь сильное правительство. Politiques, соглашаясь, в общем, с гугенотскими теоретиками сопротивления, питали все большее и большее нерасположение к «народу», который, «как бешеный и дикий зверь хотел сбросить с себя путы королевской власти и заменить их Бог знает какой воображаемой свободой, каковая, к их полному смятению и ужасу, обернулась тиранией более жестокой и варварской, чем та, которую испытывали на себе несчастные рабы у язычников» [31]. Не последним результатом опыта встречи с популистскими намерениями, опыта, полученного из первых рук, и возникшего в результате отвращения к нему, было вновь возросшее уважение к образованному интеллекту и дисциплине во всех ее проявлениях. Еще одним прямым политическим результатом стало желание иметь короля, «который на ведет порядок» [32].

Впервые, свою четкую формулировку теория Божественного права получила в *L'autorité du roi*, написанной Пьером Беллуа (Pierre du Belloy) в 1588 г. Он писал эту книгу, основываясь на галльской убежденности в единовластии короля, когда тот боролся с Папой; кроме того, эту мысль развивал Бодин (Bodin) в своей теории единовластия, которое дается прямой Божественной санкцией. Жажда сильного – авторитарного – правительства, представлялась, таким образом, делом и очень разумным, и высоко моральным, ибо она согласовывалась с политической теорией. Помимо этого, в ней выказывалось изумительное послушание божественному порядку вещей. Король, который получал власть непосредственно от Всевышнего, был подотчетен исключительно ему же, любое сопротивление становилось теоретически несправедливым, ибо легитимный властитель был праведен по определению. У подданных не оставалось никаких прав – они могли только подчиняться. Между 1596–1598 гг. эти мысли в своей упрощенной форме можно было прочесть в листках, издаваемых памфлетистами. «Совершенно очевидно, и, вне всякого сомнения, – писал один из них, – что вся власть дается свыше и противостоят ей – значит противостоят Божьим заповедям

и наказам. Я имею в виду истинную и настоящую власть, власть от Бога, данную законному королю, поддерживаемую государственными законами и установлениями. Я говорю здесь о полной и абсолютной власти, опирающейся на праведные законы, божественные столь же, сколь естественные и гражданские, служащие достойным обрамлением истинному королю. Эту власть, данную ко ролю от Бога, никто не имеет права ни измерять, ни контролировать». Отныне уже не составляло никаких затруднений вывести формулу – «чего хочет король – того хочет Бог. И король – это Бог на земле» [33].

Для Франции Божественное право королей никакой новостью не было. Французские короли, начиная с XIII в., регулярно и систематически настаивали на своей прямой связи с Господом, минуя Божью Церковь, поскольку не желали, чтобы Рим ограничивал их власть. И собственно, не была новостью сакрализация королевской власти и самой королевской персоны, ибо это было сущностью эффекта роялистской веры (религии). Эта вера, тоже в течение столетий, была цен тральным элементом французского католицизма. Благодаря этому французский королевский дом бессознательно, но к XVI в. очень успешно, освободился от цепких рук Рима, и в то же самое время крепко сжимал своих подданных в своем санкционированном свыше абсолютистском кулаке. Новизна божественного права заключалась не в трансцендентной природе праведности королевской власти, и не в том, что ее напрямую дал Господь Бог. Суть заключалась в том, что эта теория сразу же покончила со всякого рода апарансами и расставила все по своим местам. Бог, который дал королю санкцию на власть, был христианским Богом – кем же еще, спрашивается, ему быть? Но он уже не был Господом католической церкви. В этой связи Господня божественность стала абстрактной. Установление абстрактного божественного права было очень важным шагом по пути дальнейшей декатолизации французской королевской власти и парадоксальным образом по влияло на ее секуляризацию.

Больше того, все более и более обезличенный Бог французов имел очень явные и любопытные отношения с реальностью. Суверен был наделен властью от Бога, только если его рождение шло по легитимной линии, то есть провиденциальный выбор должен был непременно подтвержден салическим законом. Власть короля была от Бога, но наследовал он ее по, несомненно, не божественному конституционному закону королевства. Невилл Фиггис подчеркивал легалистический и светский характер французского варианта теории божественного права в сравнении с ее английским вариантом XVII в. [34]. В своей зависимости от салического закона секуляризован был сам Господь. Но в этой секуляризации не было элемента *entzauberung*. Природа сакральности изменилась, но она оставалась сакральной. Параллельно с секуляризацией божественного была обожествлена мирская власть, санкционируемая пусть очень важными, но человеческими, а не Господними законами. А вместе с ней были обожествлены и закон, и общность, на нем построенная. Доктрина божественного права короля привела к овеществлению французской организованной общности (*polity*).

Следующее столетие уравнило короля и эту организованную общность, которую во Франции изначально называли бы государством *the state*, а веком позже преданность королю полностью перешла на эту все более приобретающую божественные черты, но все же обезличенную властную структуру. А ведь первоначально считалось, что ко роль и источник этой структуры, и телесное ее воплощение. Но этапы этой фантастической эволюции были заложены в идее божественного права ровно так же, как выводы из силлогизма заложены в его предпосылках. Некоторые предзнаменования того, куда пойдет развитие в XVII в., были видны уже в 90-е гг. XVI в., особенно в трудах Шарля Луазо (Charles Loyseau). В «*Traite des seigneuries*», опубликованном в 1608 г., Луазо определяет организованную общность как властную структуру, осуществляющую контроль над принадлежащей ей территорией. Эта территория является неотъемлемой частью этой общности. Одна без другой они не могут составлять организованную общность, *res publica*, социальный организм. Но, в то время как

территория, представляющая эту общность была мертвой материей, властная структура или суверенность вдыхала в нее животворное на чало [35]. Власть была сущностью организованной общности. По ассоциации с королем и его владением – estate (état du roi), властная структура тоже получила похожее название the state (государство). При переосмыслении понятия «властная структура» в этих терминах можно было легко параллельно «овеществить» понятие the state (государство). Государство же приравнивалось к res publica или к обществу. Для сторонников доктрины божественного права король был сувереном в точном значении этого слова. Власть короля не имела границ, он подчинялся только Богу и основному закону, а это значило, что фактически он не подчинялся никому. Мыслители XVII в. просто-напросто делали из этого вывод, что король и есть личностная сущность общества, то есть, другими словами, что король и есть государство. Полная персонализация политической общности позволила развиваться пылкой преданности абстрактному понятию. Абстракция сама по себе не может требовать такой пылкой преданности. Но перераспределение власти и реорганизация общественной структуры, которую оно подразумевало, породили напряжение и разочарование в королевской власти. Преданность переносится на другой объект – саму абстрактную общность.

Король и его государство

Завершил XVII в. трансформацию французской идентичности (среди тех, кто ею обладал) из религиозной в политическую. Эта идентичность предполагала, что религиозное единство не столь существенно, но при этом полностью базировалось на понятии божественного права. В ней также были заложены основы для дальнейшего развития, по мере того как на почве рассуждений о новом характере французскости, выростали новые идеи о том, что же все-таки составляет организованную общность (polity). Этапы этой трансформации прослеживаются достаточно отчетливо. Замена преданности лично королю на трансцендентную преданность и замена преданности земной patrie на духовную произошли при Великом князе церкви – кардинале Ришелье. И при следующем царствовании никто – ни папа, ни Христос – не могли оспаривать верховную власть «короля-солнце». Конечно, такая ясность взгляда – преимущество тех, кто это рассматривает задним числом. Для современников все это было не так просто. Следует помнить, что религия (а во Франции – католицизм) еще долгое время оставалась фактором первостепенной важности. Первая половина XVII в. пережила возрождение католицизма – и во Франции это чувствовалось как нигде. Людовик XIII превзошел в благочестии всех французских монархов за четыре столетия, если считать от Людовика IX Святого. И тем не менее подспудно неутолимое желание секуляризовать французскую идентичность продолжало существовать. Потребовалось длительное время, чтобы французы осознали, что они говорят прозой – и по существу, нерелигиозной. По скольку в дискурсе святости никогда не подвергались поруганию – просто одна категория сакрального заменялась на другую – и, более того, поскольку идиомы дискурса заимствовались из католической традиции, это изменение идентичности практически не ощущалось.

Труды кардинала Ришелье по государственному обустройству Франции

Французскость стала отделяться от католицизма при Ришелье. Выражалось это хотя бы в том, как стали называться враждующие партии. Те, кто отстаивали собственно французские интересы и были за войну с Испанией – лидером мирового католицизма, называли себя *bons Français*, их противники, которые считали, что во главу угла следует ставить религиозные соображения, называли себя *catholiques zélés* или *dévôts* [36]. Безусловно, *bons Français* никогда не позиционировали свою антирелигиозность, наоборот, они заявляли, что они-то и есть за истинный католицизм, тот католицизм, который требовал безграничной преданности и подчинения королю, ибо он (король) и есть наместник Бога на земле. Они одобряли труд Ришелье по строительству государства (так его дружно называли историки XX в.). Ришелье хотел закрепить и усилить абсолютную власть короля в пределах государства и прославить это государство во всем мире. Сам кардинал принимал сторону то одной, то другой враждующей партии, смотря по обстоятельствам. Но из поддержки пишущих *bons Français* («славных французов»), с которыми ему приходилось объединяться чаще, он извлек немало выгоды. Объединяясь со «славными французами», великий министр преследовал свои цели: а именно, чтобы «славные французы»-писатели защищали его политику антикатолическую или антипротестантскую, внешнюю или внутреннюю. Ее окончательным результатом должно было быть признание земного государства как главного блага и источника всех ценностей. После Ришелье существование «интересов государства» и их главенствующей роли при всех иных соображениях, не оспаривалось никем.

Как правильно заметил много лет назад Чарльз Макилвейн (Charles Mcellwain), именно доктрина о божественном праве короля сделала возможным аргумент, относительно «интересов государства» [37]. «Славные французы»-писатели, защищавшие политику Ришелье от обвинений в антирелигиозности, доказывали, что она носила исключительно и безусловно религиозный характер, поскольку Ришелье был министром и защитником короля, который в своем государстве самим Господом поставлен над законом, а поскольку король связан с Господом прямым родством, то он поставлен и над единой церковью во всем остальном мире. Королевская власть была источником всех ценностей, а верность королю была высшим благочестием. Классическое свое выражение подобная позиция получила в *Catholique d'etat*. Этот труд был яркой апологией абсолютистской антигабсбургской политики Ришелье. «Король правит по воле и власти Господа, – утверждалось во вступительном слове, обращенном к Людовику XIII. – Короли суть наиболее блистательные орудия Божественного провидения, призванные управлять миром. Древние, не будучи льстецами, уподобляли их богам, живущим во плоти. Сам Господь учит нынешних людей тому же и желает, чтобы Вас называли богами. И раз он желает, чтобы Вас так называли, то он желает, чтобы Вы и были Богом, и, несомненно, отринет всякого, кто алчет связать Вам руки, принизить Ваши права, противостоят Вашим действиям, пред которыми должно благо говеть, и пытается быть судьей и цензором Вашего Величества в тех делах, где ваш судья – один лишь Господь». В основном тексте автор жалуется на то, что «пришли ужасные времена, до них католика никогда не предавали анафеме за то, что он любит государство, в котором он родился, и за то, что он желает своей родине блага и процветания». «Чудовищно, что для всего христианского мира сейчас считается оскорбительным называть человека католиком по его государству и по политике его государства. Если он таковым не является – то он предатель своей страны. Он – лицемер и враг Господень, ибо враги наших королей – враги Господа, а следовательно, и наши враги» [38].

Из этого отрывка становится очевидным, что грань между божественной санкцией и собственно божественностью была неотчетливой и ее легко можно было перейти. Мысль о том, что король не представитель Бога на земле, а собственно земное воплощение Господа возникала достаточно часто. Одной из наиболее невинных жертв без жалостного процесса централизации власти был маршал де Марильяк. В слове перед казнью он напутствовал своего племянника, служить королю после Господа. «Славный француз» Поль дю Шатле был этим страшно возмущен. «Что же имел в виду виновный маршал, когда советовал служить королю только после Господа? Что, нежели как не христианское отсутствие уважения к королевской власти могло скрываться за этим преумалением королевской особы? Служба Господу и служба королю суть одно и то же» – декларировал дю Шатле. «Что мы должны думать о католике, который говорит о своем короле, наиболее праведном и благочестивом католическом повелителе, из всех когда-либо державших скипетр, что ему надо служить “после Господа”? Что, как не то, что этот человек имеет самое дурное мнение о благочестии и доброй воле своего господина? Что, как не подозрительность, тайная ненависть к нему, желание ему мести и заговорщическая деятельность под предлогом каббалистического благочестия, подвигло этого чело века, столь многоречивого даже в смерти, что он так усиленно старался в своих последних словах провести различие между служением королю и служением Господу?» [39]. «Славные французы» хотели отделить себя от такой нечестивости. Все более они служили королю не после, и даже не наряду с Господом, а прямо-таки, как если бы он им и был. И так же как раньше знаком «французскости» было наивысшее христианство, так теперь быть французом значило душою и телом быть преданным принципам божественного права и роялистского абсолютизма. «Быть французом и ненавидеть короля, – постулировал автор *Catholique d’etat*, – ругать его, критиковать решения ко роля и королевского совета, хотеть уничтожить королевское государство – есть вещи несовместные». Тем, кто недостаточно быстро осознавал королевскую непогрешимость, Гез де Бальзак (*Guez de Balzac*) гневно отвечал: «Так ли надо быть французом и верным слугой короля? Не есть ли это крайнее непонимание того, на что вы поднимаете руку, и злобность, доходящая до высшей степени исключительного безумия?» [40].

У сакральных существ была сакральная же атрибутика. Обожествление короля предполагало сакрализацию королевского государства (*the state*). Понятие государства, изначально означавшее королевскую власть, в XVII в. было мультивалентно [41]. Оно продол жало использоваться в смысле королевской власти, и также относилось к функциям королевского правления, к территории (*the realm*), и к на селению, над которым эта власть осуществлялась. Роялистская власть руководствовалась специальными нормами или, скажем, у нее имелись различные мотивы, как-то: территориальная экспансия, повышение статуса или увеличение могущества. Это были главные интересы государства.

Пистаель считал около 1622 г., что «величие, безграничное самовластие и слава короля» есть самый важный закон государства. «Королю, – писал он, – надлежит заботиться о соблюдении этого за кона более, чем о собственной жизни. Нельзя называть короля неправедным, если он расширяет границы своего государства. Ему надлежит поступать так, исходя из интересов и законов королевского величия, ибо едва он касается скипетра, он дает торжественную клятву, единственно потому, что он принял этот скипетр, посвятить все свои силы со хранению и приумножению своей власти. Тот, кто сомневается в этой истине, невежествен в политике» [42]. Таковы были принципы. На практическом уровне Ришелье советовал воплощать их в дело следующим образом: «Мы можем считать, что Наварра и Франш-Конте принадлежат нам, поскольку они граничат с Францией и мы можем их легко завоевать, как только у нас до этого дойдут руки».

Из этого следует, что государство (*the state*) обладало специфической, отличной от христианства моралью. Она, опять-таки, являлась прямым выводом из доктрины о божествен-

ном праве королей. Поскольку королевская власть или королевское государство было в то же самое время божьим государством, государство неизбежно становилось альфой и омегой и источником моральных ценностей. Божья воля была непостижима, но куда бы ни простирался интерес государства – это была Божья воля. И одновременно государство явно существовало в обычной реальности. «Мы знаем, что спасение человека про исходит в ином мире, – писал кардинал Ришелье, – но государства не существуют в мире ином. Их спасение либо имеет место быть в настоящем, либо его нет вообще» [43]. Этот мир уже не являлся преддверием иного высшего мира. Земное государство стало инкарнацией государства божественного.

Все, что приходило в соприкосновение с богоизбранным королем, по ассоциации приобретало сакральность. Гез де Бальзак в предисловии к «Le Prince» писал, что «приближенных к королю мы должны считать чище и лучше нас, ибо они сияют блеском, полученным от их Величеств. Уважение, которое мы оказываем королевским приближенным, должно распространяться даже на их ливрейных лакеев и камердинеров, и тем паче на их дела и на их подчиненных» [44]. Подтасованные тексты Бальзака (а самые страстные обожатели Елизаветы Английской по сравнению с ним выглядели жалкими дилетантами) ему самому казались священными. Их нельзя было критиковать. Им нельзя было противоречить. «Те, кому не нравится мой труд, – заявлял он, – суть большие враги собственно предмета книги, нежели чем критики ее текста, и питают большую вражду к повелителю, чем к тому, кто является его голосом. Тот, кто считает написанное мною излишне преувеличенным, не понимает долга веноподданного и не имеет должного мнения о своем повелителе».

Ложные обоснования не способствовали популярности этой книжки. Но те же самые аргументы выдвигались в отношении политики Ришелье. Министру нельзя было противоречить, ибо критиковать его *upso facto* значило критиковать самого короля. Этот аргумент был весом еще и потому, что сам король это мнение разделял. Тем, кто во времена Ришелье критиковал его как разрушителя королевства, дурного советчика, который скрывает от короля истинное положение дел и тем самым обманывает его, король отвечал, что политика Ришелье – это собственная политика короля. «Король прекрасно осведомлен о том, что делает его министр, и утверждать обратное – значит считать богоизбранного суверена дураком». «Сколь же непереносимо... когда трусливые и злокозненные людишки настолько обнаглели, что осмеливаются писать, что я – пленник, сам того не зная, чем наносят мне самое нестерпимое оскорбление» [45].

Сторонники Ришелье среди интеллектуалов использовали все возможности, таящиеся в мощной королевской поддержке, и выражали это в письменной форме. «Тот, кто критикует государственных министров Его Величества, не упоминая имени короля, на деле критикует и оскорбляет нашего повелителя», – предупреждал один *vieul courtisan désintéressé*. Ученый Жан Сирмон (Jean Sirmon) сделал окончательный вывод: «Министры для государя то же самое, что лучи для солнца. Воображение не в силах их разделить». Все моментально сообразили, что это делает Ришелье королем [46]. Процесс был сходен с обожествлением короля в результате господней санкции. Рядом с королевской особой возникала новая реальность, реальность, которая тоже приобретала сакральный характер, и которой надлежало повиноваться и обожествлять ее так же, как, собственно, самого суверена. Эта новая реальность, именуемая государством, переплеталась с сущностью королевской персоны, но представлена была людьми из плоти и крови, и крови не королевской.

Распространение сакрализации от королевской персоны на ее дела и ее министров отражалось в широком толковании и относительной деперсонализации понятия *lèse-majesté* (оскорбление величества), трактуемом как самое тяжкое преступление. В законах XVI и начала XVII в. самыми тяжкими считались преступления против королевской особы, королевской семьи и королевской власти (*notre personne, nos enfans et nostre posterité et la*

republique de nostre royaume). В *De souveraineté du roi* юриста Кардена Ле Бре (Cardin Le Bret), наиболее представительном труде по криминологии тех времен, определение тягчайшего преступления было дано в подобной же манере. Ле Бре разделил преступления, относящиеся к «оскорблению величества», на три категории: диффамацию короля, критику его жизни и заговор против его государства, подкрепляя свое разделение на категории традиционной аргументацией: «Поскольку ко роли избраны Богом, клевета на них есть богохульство и святотатство. Поскольку наши суверенные государи суть наместники Господа на земле, его живое воплощение или, скорее, Боги на земле как называет их Священное Писание, нам надобно относиться к ним как к божественным и священным существам. Итак, можно сказать, что тот, кто оскорбляет короля, оскорбляет самого Господа. Но жизнь короля не такова, как жизнь любого смертного, ибо король есть дух, которым живо государство. Потеря его влечет за собою гибель всего государства». Подобная интерпретация «оскорбления величества», которая все еще была сосредоточена на королевской особе, тем не менее уже предполагала существование и другой стороны (в каком-то смысле «расширения» королевской особы), стороны, неотделимой от персоны короля, но для которой он служил лишь средством.

Кодекс Мишо (Michaud) (1629) добавил к «оскорблению величества» еще публикацию диффамационных листов относительно государства, отъезд из страны без королевского разрешения, контакты с иностранными послами, создание лиг и созыв ассамблей, строительство укреплений и производство вооружения, либо владение большим количеством оружия или более тяжелым оружием, чем это потребно для самозащиты.

Статья 179 этого кодекса гласила: «Мы запрещаем... всем нашим подданным, без какого-либо исключения, писать, печатать, либо оказывать помощь в напечатании, продавать, публиковать, распространять любые книги, листки или другие тексты, напечатанные типографским способом или написанные от руки направленные против чести и репутации особ, включая нашу собственную особу и наших советников, магистратов и чиновников, а также тех, кто занимается управлением нашего государства и внешней политикой. Мы объявляем всех, кто не соблюдает вышеупомянутого закона, особенно в отношении лиг и ассоциаций внутри или вне нашего государства, виновными в оскорблении Величества и изменниками Родины» [47].

Такова была буква закона, на практике «оскорбление величества» трактовалось еще более широко. Франсуа де Монморанси, граф де Бутвиль, потомственный аристократ, подрался на дуэли (1627), открыто пренебрегая королевским эдиктом, запрещающим их. Его обвинили в тягчайшем преступлении, приговорили к смерти и казнили. Несколькими годами позже, на основе «ad hoc» определение «тягчайшее преступление» («тягчайшая измена») было расширено с тем, чтобы под него можно было подвести всех, кто как-либо служил или хранил верность брату короля Людовика XIII Гастону Орлеанскому и королеве-матери, поскольку и королева-мать, и Гастон Орлеанский требовали смещения Ришелье и устраивали заговоры против его правительства. Под это определение подходили также вообще все, кто противостоял политике Ришелье и все им сочувствующие. Обвиняемых в оскорблении величества судили – для этого создавались специальные комиссии – как правило, их находили виновными и приговаривали к смерти.

Государство, все еще в смысле королевской власти (неизбежно абстрактной), таким образом, приобретало существование, отдельное от короля. Это было нечто, чему предполагалось, король должен был служить, как и любой другой человек. Король был для него наиважнейшим компонентом, но эти два понятия уже не были идентичны. Государство было глубинно, по существу монархическим, оппозиция королевскому государству всегда влекла за собой оппозицию королю, а преданность и верность королю предполагали преданность и

верность его государству. То есть, государство еще не было независимым объектом преданности (верности), но это уже был, так или иначе, новый ее объект.

Эту развивающуюся сакральную область (новую абстрактную целостность) можно определить пожалуй, лишь от противного. Она была полной антитезой «национальному» так, как это понималось в Англии. В службе государству в этом контексте, служба на общее благо отнюдь не стояла на первом месте. Хотя «интересы общества» (народа) могли быть упомянуты в рамках «интересов государства», но главные «интересы государства» обычно состояли в «величии, абсолютном единовластии и прославлении» короля. Предполагалось, что король служит именно этим идеалам, а не общему благу, или, скорее, общее благо синонимично «величию, абсолютному самовластию и славе» короля. Благо народа, которым он правил, было, по меньшей мере, делом второстепенным, если вообще имело какое-либо значение. Такая постановка вопроса была полной противоположностью идее Отмана, высказанной столетием раньше.

Полное и нескрываемое равнодушие Ришелье к страданиям своего народа, последовавших в результате его работы «на благо государства», было просто поразительным. «Нежелание народа воевать, – писал Ришелье, – не может заслуживать внимания в качестве причины, по которой следует... заключать мир, поскольку люди часто жалуются на неизбежное зло, причиняемое войнами так же охотно, как и на то, которого можно избежать. Народ невежествен и не понимает нужд своего государства. Его легко возбудить, и люди хнычут там, где нужно терпеть, чтобы не навлечь на себя большее зло». Война на поверку была действительно необходимым и полезным злом, по определению Ришелье, пользы общества. «Народные беды – преходящи, – писал один из сторонников Ришелье «славный француз» Ахилл де Санси (Achille de Sancy). – Год мирной жизни восстанавливает все. А польза, приносимая этими войнами королю, будет существовать вечно. Король защищает свою репутацию в христианском мире и наводит своим оружием страх на тех, кто в будущем мог бы причинить ему вред» [48]. Следует отметить, что беды, о которых они столь философски рассуждали, были самой неприкрытой нищетой, а не временным отсутствием предметов роскоши или неудобствами такого же рода. Есть было не чего – постоянно, настолько, что это доводило людей до самоубийства. В некоторых провинциях крестьяне ели траву [49]. Но возвеличение, расширяющееся абсолютное самовластие и грандиозная слава французского государства были неопровержимым фактом. А ведь важна именно слава, а не рацион черни.

Поскольку король и государство были неотделимы друг от друга и невозможно было находиться в оппозиции государственному благу, не находясь в оппозиции королю, те, кому были не по нутру ришельевские методы служения обоим, пытались переосмыслить понятие «благо государства». В связи с этим, они предлагали различные определения самого государства. Мятежный брат Людовика XIII Гастон Орлеанский и его сторонники среди интеллектуалов привлекали внимание к тому, что Ришелье не уважал традиционные отношения и привилегии (которые они называли вольностями или свободами). Особенно это касалось знати и нищеты народа, а знать относилась к ней исключительно на счет Ришелье. По-видимому, они рассматривали государство как общность, организованную этими традиционными отношениями, привилегиями и народом. К этим же попыткам переопределить понятие «государство» как организованной общности принадлежат робкие и редкие размышления о природе абсолютной монархии. Никто не сомневался в богоизбранности короля и легитимности абсолютизма, но те, кто еще окончательно не стали «славными французами» хотели бы, чтобы король скорее смягчал свою абсолютную власть, чем усиливал и ужесточал ее, как того требовал Ришелье, для которого это и было главным «интересом государства». В целом оппозиция абсолютизму в этот ранний период его формирования еще не была артикулирована ни в какой форме и существовала лишь как некое смутное чувство. В XVII в. взгляды Ришелье на государство и абсолютную монархию восторжествовали, но именно государство, изобре-

тенное Ришелье, как объект преданности, столь же сакральный, сколь и король, и существующий наравне с королем, впоследствии дало возможность покончить с абсолютной монархией.

Абсолютные монархи и их эгоистическое государство требовали абсолютной же преданности. Бог политический был гораздо ревнивее христианского, который мирно уживался с богами более низкого ранга (такими, например, как короли, социальные причины и установления). Государство абсолютных монархов желало, по контрасту, царить в сердцах своих подданных единолично. Во всяком случае, так должно было быть, по мнению министров и самого величайшего абсолютного властелина – государства французского. Оно отказывалось делить своих подданных даже с религией, будь она истинной или реформистской. И уж конечно, оно было нетерпимо ко всякого рода излишествам, в виде меньших обязательств и идентичностей, организовывавших структуру традиционно-французского общества. Христианский бог в своем распоряжении имел вечность, но государство существовало лишь здесь и сейчас и оно хотело иметь свою лепту сразу. Абсолютизм жаждал тоталитарности, абсолютная власть была возможна тогда, когда все ростки независимости, а следовательно, потенциальной оппозиции, были вырваны с корнем. Наличие каких-то обязательств – преданности и верности чему-нибудь другому, кроме как абсолютной власти, порождало независимость от нее.

Быть хорошим, то есть преданным, патриотичным французом, значило быть хорошим подданным. Хороший подданный – это послушный подданный, оставляющий политику профессионалам. «По слушание – вот что отличает истинного подданного», – писал Ришелье. Гез де Балзак, бывший, возможно, одним из самых пылких его почитателей, предвидел, что в ближайшем будущем настанут идиллические времена, когда «новшества будут разрешены лишь в цвете и фасоне платья. А свобода, религия и общественное благо будут находиться в руках власть предержащих, и из легитимного управления и абсолютного послушания воспоследует полное счастье, которого и добиваются политические вожди, и которое есть цель граждан» [50].

Тех, кто традиционно имел политическую власть и участвовал в управлении государством, последовательно от этого отстраняли. И в конце концов, они полностью лишились и власти, и участия в управлении, и стали такими же подданными, как и все остальные, равными друг другу в своем подчинении королю. Это вызывало колоссальное недовольство и сопротивление и послужило причиной бунтов против «тирана» Ришелье. Гастон Орлеанский и высокородная аристократия жаловались именно на это, и именно в этом состоял смысл их мольбы о возврате к монархии в смягченном виде. «Умерьте его амбиции, его злобу и ярость, о, Великий король!» – так умолял Людовика XIII Матье де Морг (Mathieu de Morgues). Как будто королевский абсолютизм был всего лишь прихотью королевского фаворита Ришелье. «Призовите к себе тех, кто должен быть рядом с Вами по природному праву» [51]. Но абсолютизм и состоял в том, что власть должна была быть централизована в одном источнике, и никакого природного права иметь в нем долю, ни у кого не было.

Как раз в это время и обрело форму государство в смысле роялистского централизованного управления. Оно стало реальностью, которую можно было «пощупать». Постепенная централизация власти во Франции восходила к средним векам, и уже в первой половине XVI в. ее можно было увидеть невооруженным глазом. Бур боны, унаследовав структуру управления, созданную Франциском I и Генрихом II, продолжили их труды. К концу царствования Генриха IV, монарх, к тому времени все более называемый абсолютным, правил с помощью узкого круга «центральной администрации» [52]. Она состояла из нескольких советов или секций, поделивших между собой судебные, законодательные и исполнительные функции собственно королевского совета (Conseil du Roi или Grand Conseil). Возглавляли эти советы канцлер-главный судья, государственные секретари по иностранным,

военным и внутренним делам, суперинтендант – генеральный контролер и интенданты финансов. Нередко один и тот же человек отвечал за несколько важных дел. В цен тральную администрацию было также включено большое количество людей, занимавших более мелкие должности. К ним относились государственные советники и *maîtres des requêtes*. Первые участвовали в политических дискуссиях, а вторые снабжали советы необходимой информацией. Члены центральной администрации не имели никаких прав на свои должности и были обязаны ими исключительно милости ко роля. Это выражалось и в их самовосприятии – они считали себя «креатурами» короля, который был их «покровителем» [53]. Их благосостояние (в смысле должности и богатства) полностью зависело от расположения суверена, потому что только он их и выдвинул, и он же мог их и уничтожить.

Однако не все члены королевского совета зависели от короля подобным образом. Высокородная знать – принцы крови, пэры и кардиналы тоже имели право участвовать в управлении государством, это было их прирожденным правом. Они его не всегда использовали или, по крайней мере, использовали не систематически, поскольку управление государством требует прилежания, а прилежание было не самым выдающимся качеством аристократии. Но при Ришелье они были лишены самой возможности пользоваться этим правом. У высшей знати были независимые источники и статуса, и богатства и, до последнего времени, власти. Идентичность аристократии была сформирована феодальными взаимоотношениями и ее преданность королю, который для высшей знати был всего лишь «первым среди равных» (то есть самым знатным человеком в государстве) была добровольной. Высшая знать не симпатизировала практическому абсолютизму, хотя его теоретические принципы, развиваемые наиболее красноречивыми членами общества и воспринимаемые остальными в значении чисто ритуальном, она принимала. Но, как указывают многие авторы, знать решительно отказывалась понимать концепт «государства». Для многих грандов, впрочем, как и для подавляющего большинства остальных людей, государства, в каком-либо смысле отдельного от короля и в качестве объекта преданности, в первой половине XVII в. просто не существовало. У аристократов не было никакого интереса в том, чтобы король приумножал свое «величие, абсолютное самовластие и славу» и, покуда они участвовали вместе с ним в управлении страной, оно (управление) на самом деле полностью королю не принадлежало. Подобным образом, государство (в смысле централизованного управления) развиваться не могло. В отличие от грандов французского королевства, Ришелье, амбиции которого были вполне на уровне самых знатных аристократов, но не имевший, как они, независимых источников дохода, способных удовлетворить эти амбиции, идентифицировал себя с королевской властью. Для него служба королю была единственным способом пробиться наверх, и он настаивал на том, чтобы дело обстояло так же и для всех остальных [54]. Аристократию, как таковую, отодвинули от управления государством затем, чтобы переделать властную элиту в элиту служилую. Для служилой элиты не важны были ни родословная, ни состояние. Служба могла быть источником богатства, но никак не производным от него. Кроме того, служилая элита нужна была для того, чтобы создать слой людей, чьи интересы были бы неотделимы от интересов королевской власти. (Влиятельные аристократы могли принадлежать к этой элите, если они отрекались от собственной независимости и идентифицировали себя с королем – а этого они бы не сделали никогда.)

При поддержке короля, ни в чем не отступая от принципов божественного права, Ришелье приступил к реализации своих взглядов. При этом обстоятельства сложились в его пользу. Недовольные гранды последовательно себя дискредитировали, занимаясь интригами против королевской власти. Это было их основным занятием после убийства Генриха IV. Особенно они интриговали против Ришелье. В дискредитации себя они вполне преуспели и были исключены из королевского совета. Тогда Ришелье заменил их своими «креатурами», поставив на важные посты своих родственников и друзей, и родственников и

друзей своих друзей (то есть людей одного круга). Эти «креатуры» были обязаны ему своим возвышением, и он мог рассчитывать на их преданность, которая была столь же непоколебимой, сколь и его собственная преданность Людовику XIII. Администраторы, связанные, таким образом, единой цепью зависимости, действовали как единый организм и обладали единой волей. Их главным и единственным делом было сохранение и приумножение королевской власти, с одной стороны, а с другой стороны, они держали всех тех, для кого это не было главным делом, вдали от трона. Знать сокрушалась, что ее не только удалили от «главных дел», но и даже лишили традиционного права прислуживать королю. Советники Ришелье стояли между монархом и всем остальным миром, ревниво отслеживая каждый знак внимания своего суверена [55].

Доверие, с которым Людовик XIII относился к своему министру, и его беспримерная поддержка стратегии и тактики Ришелье привели к тому, что часть королевской власти *de facto* перешла к первому министру и к очевидному смешению их ролей. Этого смешения не существовало ни в голове у короля, ни в голове у Ришелье. Но чужим очам было видно, что происходит обобществление понятия абсолютного самовластия и дальнейшее абстрагирование его собственно от монаршей особы. У некоторых даже стала смутно возникать идея, что власть может существовать и вне короля (хотя и при нем). Кому-то могло показаться, что рядом сосуществуют две силы (пусть одна была отражением другой) – король и его правительство или государство (*the state*). Это правительство было коллективным органом, состоящим из министров и чиновников, а первый министр был его вдохновляющим началом.

Итак, королевская власть превращалась из монаршего атрибута или занятия в государство в смысле *the state*, коллективного носителя абсолютного самовластия, и одновременно с этим, государство также становилось каждодневной реальностью. Централизации политической власти в столице соответствовала административная централизация всего королевства. Для выполнения решений королевских советов до Ришелье существовала армия чиновников (*officers*), организованных в корпорации, такие как *parlements*. *Officers*, в отличие от членов советов (не великих грандов), пользовались значительной независимостью. С XVI в., благодаря практике продажи должностей, они стали владельцами своих постов, а закон 1604 г. *paulette* сделал эти должности своего рода наследственными (если выплачивался годовой взнос, то должность можно было передавать по наследству). В начале XVII в. во Франции было около 40 000 *officers* [56]. По рождению они не были аристократами. Но уже к этому времени, многим должностным лицам, особенно в королевских судах, при определенных обстоятельствах давали благородное звание, и вскоре эта многочисленная группа перешла в определенную категорию знати, называемую *noblesse du robe*.

Исполнение королевской политики лежало на этих профессиональных наследственных бюрократах; им была передоверена каждодневная фактическая работа по управлению государством. Но «бюрократическая власть» так же, как и «власть аристократическая», строго говоря, не была королевской властью. Внешне *officers* представляли королевскую власть, на деле же они являлись собственниками определенной части властной функции. За эту часть они платили, считали ее своей собственностью, держались за нее и извлекали из нее доход. Их благосостояние, в отличие от благосостояния членов королевской администрации, зависело больше всего и прежде всего от благосостояния их корпорации. Так что лояльность *officers* была, по крайней мере, двойственной. Продажа должностей противоречила принципу невидимой власти, каковая была базисом у надстройки в виде королевского абсолютизма, и *officers* были не слишком заинтересованы в его развитии.

И если «государство» соотносить с королевским управлением (властью), то *officers* не представляли собой «государство». Таким образом, государство во Франции не могло быть построено без создания альтернативного бюрократического корпуса. Собственно, этот процесс и пошел. Ришелье и не стоял у его начала, и не привел его к завершению. Но он столь

успешно ему способствовал, что его деяния на посту первого министра, называли, либо обзывали, революцией в управлении. Он вовсе не намеревался вводить какие-либо сверхпреобразования. Считалось, что преобразования – это временные меры, мирно со существующие с формальным традиционализмом. Новое вино подавалось в старых бутылках. Однако вкус у него был другой, и *officiers*, без труда распробовав его, решили, что им оно не по нутру.

Две заботы омрачали царствование Людовика XIII – внутренние беспорядки и конфликт с Габсбургами. Эти тяготы и подвигли Ришелье на поиски путей увеличения эффективности и подотчетности бюрократических правительственных структур. Пути эти были в большинстве случаев известны и все они считались законными. Но министерскую деятельность отличало все более широкое и наглядное использование мер экстраординарных. В результате же эти меры стали считаться нормой. Наиважнейшим и наиболее тщательно разработанным из этих мероприятий, каковое Ришелье осуществил, вовсе не думая, что это так важно, было учреждение службы провинциальных интендантов. Интенданты повсеместно представляли центральную власть. На деле провинциальные интенданты были особыми спецпосланниками, служившими королю и подотчетными лишь королевскому совету. Их выбирали из советников государства и *maîtres des requêtes* и посылали в провинции с разовыми поручениями, как-то: проверить работу определенного суда, подавить бунт, проследить и проверить налоговые сборы. Использование интендантского корпуса резко возросло во время эскалации военных действий против Испании, поскольку требовалось как можно более эффективно и надежно собирать налоги. С тех пор, согласно Ролану Мунье (Roland Mousnier), значимость института интендантов сильно изменилась. Интенданты успешно подчинили себе, либо даже сменили всех финансовых чиновников и обычных судей. Их власть в пределах данных им поручений была абсолютной. Им должны были оказывать всяческую помощь. Им должны были подчиняться. И их решения могли быть оспорены лишь в королевском совете [57]. *Officiers* сохраняли свои должности, но утратили свои права, а вместе с правами – и доход, и источники влияния.

В общем и целом привилегированным подданным французского короля, малым или великим, не нравилось то государство, которое усилиями кардинала Ришелье выросло перед их глазами. Оно лишало их привилегий. Только королевская власть и страх наказания заставляли их на время принять эти новшества. И они соглашались на них, беспрестанно ворча и втайне надеясь на возврат добрых старых времен. Когда Ришелье умер (1642), народ возрадовался [58]. Годом позже за своим министром последовал и Людовик XIII. Его преемником стал малолетний, едва ли пяти лет от роду, Людовик XIV – гранды и чиновники тут же подняли восстание.

Фронда

Когда король еще не достиг совершеннолетия и королевство управляется регентом, а не наместником Бога на земле, власть, по определению, временна. В этот период совершенно неуязвимая в других случаях броня легитимности, покрывающая королевский абсолютизм, дает трещины, становится менее твердой и перестает защищать его от нападения. Центральная власть и ее исполнители уже не ассоциировались с королевской особой, и против этой власти уже можно было справедливо восставать, как против власти узурпаторской и изменяющей принципам праведного правления. При этом обвинения совершенно не затрагивали самого юного монарха. (Наоборот, подчеркивалось его полное неведение о том, что творится его именем). Возражений против самого монархического принципа тоже не было. Мощная оппозиция абсолютизму в периоды несовершеннолетия королей выражалась в основном в том, что знать требовала подтверждения своей не зависимости. Это происходило всякий раз при несовершеннолетнем короле – будь то Людовик XIII, XIV и снова, в последний раз в начале царствования Людовика XV. В результате была достигнута цель, которую знать вовсе перед собой не ставила: все три короля, правившие в промежуток времени, составляющий 164 года, с самого раннего детства научились распознавать своих врагов и никогда про них не забывали, что впоследствии давало врагам дополнительный повод для восстаний против преемников этих монархов. Идеологически эти мятежи носили характер радикально-консервативный. Знатные бунтовщики требовали возврата своих привилегий и окончания пагубных нововведений. Фронда – как наиболее серьезное выражение аристократической реакции во времена детства Людовика XIV – отличалась от двух остальных восстаний лишь размахом и мощью. Правительство на время утратило контроль над событиями, вся его деятельность резко приостановилась, и страна погрузилась в хаос и нищету. «В семнадцатом веке это был последний, большой бунт против королевского абсолютизма», – пишет W. F. Church [59].

Если верить, скажем так, романтизированным описаниям Дюма-отца, молодому человеку, особенно принадлежавшему к парижской аристократии, жить в те времена было очень весело и интересно, прямо-таки захватывающе здорово. Однако же, кроме небольшого дивертисмента для легковозбудимой знати, Фронда мало что дала. Личностные мотивы фрондеров были совершенно теми же, что и у их потомков 1789 г. Только они, потомки, в отличие от фрондеров, которые называли этот режим «новым», называли его «старым». Но фрондеры, так же как и революционеры, хотели с ним покончить, хотя Фронде недоставало идеологической подкладки, которая бы придавала этим мотивам моральный блеск и подогревала бы великие события. У них не было идеала, который можно было бы противопоставить абсолютизму. И поэтому этот бунт остался в памяти, как «крестовый по ход против любого порядка», «период разброда и шатаний», не имевший никакого «созидательного значения» [60]. Как будто группа актеров, которые на самом деле могли сыграть великое представление, решила поставить Французскую революцию, не дав себе труда заглянуть в текст пьесы.

И все же, когда актеры говорили – это случалось редко, по тому что в основном они веселили публику, в их речах действительно звучали по-настоящему революционные чувства, как будто они читали страницы из Франкогаллии или переводили то, что высказывали бунтовщики, живущие через пролив. А в тот момент Англия ставила на понятия «национальное» официальную печать. Клод Жоли (Claude Joly) в своем труде *Maximes pour l'institution du roi*, который считался наиболее значительным теоретическим обоснованием Фронды, постулировал следующее: «Некоторые люди, недостаточно осведомленные о правах суверена, считают, что народ существует для короля, в то время как истина состоит, напротив,

в том, что короли существуют для народа. Ибо всегда были народы без королей, но никогда не было королей без народов» [61]. «Власть короля, – настаивал он, – не абсолютна и не безгранична. Король ограничен законом, а в законе есть две стороны – люди, подчиняющиеся королю при определенном условии, и король, соблюдающий это условие, то есть сохраняющий и укрепляющий этот закон». Губительное убеждение, что король является полным властелином жизни и благосостояния своих подданных, было «внушено» ему «плохими, несправедливыми министрами», особенно «чужаком-иностранцем» Мазарини». Министры «творили это зло, чтобы наслаждаться богатством, получать титулы герцогов и пэров и вообще делать различные другие вещи, которые по рождению были им не положены». Эти министры узурпировали королевскую власть, вовлекали короля в ненужные ему войны, «желая создать хаос и сумятицу, чтобы найти оправдание выжиманию налогов из народа и не допускать высокородную знать к любому руководству», то есть туда, где министры чувствовали себя полными хозяевами и всячески аристократию унижали. Министерская деятельность также послужила причиной многих «быстрых смертей», потому что министрам нужны были должности этих людей, и им надо было избавляться от «неудобных». Таким образом, Жоли определил главные цели предательских действий министров. Они (министры) также пропагандировали «проклятую» максимуму «интересов государства», как будто у королевской власти могли быть какие-либо иные резоны для существования, кроме защиты благосостояния своих подданных, и какая-либо иная мораль, кроме Евангелия Господня!? Для Жоли государство не было идентично королевской власти, и он не использовал этот термин в отношении институтов управления. Для него «государство» значило человеческую общность, которой король управлял и ради которой он был «сделан» королем. И Жоли сокрушался из-за многих бед, постигших его государство, из-за сотрясающих его волнений, которые проистекали по причине злодеяний министров [62].

Людовик XIV

В царствование Людовика XIV, le Diedonné, «короля-солнце» и Великого монарха, центральная власть была решительно объединена с королевской персоной и дальнейшие атаки на абсолютизм стали бессмысленными. Король, который не без оснований мог говорить: «Государство – это я», использовал этот термин вполне (хотя и не совсем) недвусмысленно и именно в этом значении. Людовик XIV был правителем с колоссальным чувством долга, трудолюбом, преданным своему занятию, можно сказать, истинным королем-профессионалом и, судя по получаемому им от этого удовольствию, артистом в своем деле [63]. Он писал в мемуарах, что интересы государства всегда должны превалировать над личным удовольствием короля [64]. «Общественный и личный долг» неразделимы, если это касается королей, считал Людовик XIV. С того момента, как он повзрослел и решил стать монархом, Людовик XIV служил государству, но слугой государства он не был. В смысле этактизма Ришелье, государство было не над Великим монархом, оно для него было тем же, чем Святой Дух был для Бога Отца. Для короля «благо государства» подразумевало благополучие королевских подданных лишь на последнем месте, поскольку таковое благополучие не являлось необходимым для достижения высоких идеалов – величия, славы и абсолютного самовластия, которые были внешними выражениями королевского достоинства. Слава была наиглавнейшим благом государства и венцом королевских трудов. В то же самое время она была вернейшим средством для достижения этого венца. «Одной лишь репутацией можно достичь большего, чем с по мощью самой сильной армии», – с удивительной социологической прозорливостью заметил король. – Все завоеватели достигли более существенных результатов, полагаясь на свое имя, а не на свой меч». Государство нуждается в величии королевской власти. «В интересах своего величия и даже (*курсив автора*) в интересах своих подданных, – писал Людовик, – он (король) должен требовать от них полного подчинения. Самое незаметное разделение власти влечет за собой колоссальнейшие несчастья». Королю казалось, что главная причина этих несчастий – это «амбиции высокородной знати», которые, не будучи подавлены, неизбежно ведут к бунтам, гражданским войнам и обычной несправедливости. «Всякий аристократ, – писал августейший автор – тиранит своих крестьян. Таким образом, при разделении власти, вместо одного короля, которого должно иметь народу, им одновременно правит тысяча тиранов. А разница здесь в том, что законный повелитель всегда добр и умерен по отношению к своим подданным, поскольку его приказы имеют под собой определенное основание, в то время как незаконные суверены всегда несправедливы и деспотичны, ибо они движимы необузданными страстями».

Современники великого короля, такие как церковник Боссюэ (Bossuet) или юрист Жан Дома (Domat), выражали это же мнение словесно, а другие, самым значительным из которых был Жан Батист Кольбер, помогали воплощать его в жизнь. Дома был, в некотором роде, неортодоксальным защитником абсолютизма. Он выдвинул две поразительно со временные идеи: первая, что все люди рождаются равными, а вторая – что для их же собственного блага, им предназначено неравное общественное положение, ибо удовлетворение необходимых общественных потребностей требует разделения труда. То есть важнейшее обоснование абсолютизма было функциональным. Тем не менее оно еще подкреплялось и Божественным волеизъявлением. Социальная иерархия и политическая власть были божественными институтами, в то время как равенство людей было всего лишь созданием природы. Таким образом, традиционные соображения, насчет божественного права на королевскую власть и подразумеваемую легитимность такой власти, у Дома тоже присутствовали. Логика его аргументации свидетельствовала о его одаренном юридическом уме: «Люди, которых природа создала равными, но отличающиеся друг от друга, в соответствии с тем разнообразием

профессий и условий своего существования, которые дал им Господь, имеют необходимость в правительстве. И эта необходимость показывает нам, что правительство возникает по воле Господа. И по сколько Господь есть единственный наш естественный Повелитель, то именно благодаря Ему, все те, кто правят нами, сохраняют свою силу и власть, и в деятельности своей они являются представителями самого Господа... А раз правительство необходимо для общего блага, и сам Всевышний его поставил, следовательно, те, кто являются его подданными, должны быть ему послушны и покорны» [65].

Епископ Боссюэ, обращаясь к Людовику XIV и, очевидно, ко всем монархам прошлого и будущего в его лице, как к «богам из плоти и крови», поучает их, что «не только права королевских особ установлены Божьим законом, но и выбор властителей совершается по воле Божественного провидения. Чтобы установить власть, представляющую его собственную, Бог отмечает чело и облик суверенов печатью божественности». (Хотя некоторые из обязанностей помазанника носили поразительно обиденный характер.) «Возне сите славу вашего имени и славу Франции, – просил короля Боссюэ, – до таких высот, чтобы вам нечего было больше желать, кроме вечного блаженства».

В этом контексте преданность королю была благочестием. Но для Боссюэ благочестивое поведение включало в себя больше, чем преданность королю. В своем труде *Histoire de variations des églises protestantes* он настаивал на том, что «протестантство не есть христианская вера, поскольку протестанты не верны своим королям и своим странам». Страна (the country) приобретала сакральность по ассоциации с королем. Вознося хвалу патриотизму, Боссюэ повторяет идеалистов старых времен. «Человеческое сообщество требует, чтобы мы любили ту землю своего обитания, – писал он в своей главной работе *Politique tirée de l'Écriture Sainte*, – это то, что римляне называли *caritas patrii sole*, любовью к Родине (*l'amour de la patrie*)». Это чувство, естественное для всех народов. Родине должно было жертвовать в ми нуту ее нужды все свое благосостояние и даже самую жизнь. Понятие *patrie* определялось так: «алтари, священные вещи, слава, благосостояние, мир и безопасность жизни; объединение всего человеческого и божественного». Долг перед королем состоял в том же самом, по сколько король и родина были едины. Ему следовало служить так же, как и родине... «Государство воплощено в повелителе, в нем – сила государства, в нем – воля целого народа. Хороший человек отдаст свою жизнь за жизнь своего суверена» [66].

Grand siècle (великий век) считал патриотизм благородным чувством. Великие поэты этого века следовали традициям своих предшественников и воспевали жертвы во имя патриотизма. Пьер Корнель писал:

Mon cher pays est mon premier amour...
Mourir pour le pays est un si digne sort
Qu'on briguerait en foule une si belle mort...

Моя дорогая страна – моя главная любовь...
Умереть за родину столь почетно...
Что Все могут только мечтать о такой красивой смерти...

Без *patrie* жить не стоило. Когда Родина (the country) была в опасности, жизнь была ничтожной платой за то, чтобы Родина про должала существовать. Во всяком случае, так считал Жан Расин:

Quoi! lorsque vous voyez pèrir votre patrie
Pour quelque chose, Esther, vous compte votre vie [67].

Пошто! Когда вы видите, что родина ваша гибнет,
Зачем, Эсфирь, вам собственная жизнь?

В этой поэзии служение Родине и служение королю часто тоже не разделялись – король и Родина упоминались, так сказать, на одном дыхании. Французские подданные охотно идентифицировали себя с королем, чья слава была воистину славой Франции, особенно во времена побед. И они гордо чувствовали себя французами. Но не все это чувство разделяли – даже в среде образованных французов, которые были к этому чувству наиболее склонны. Блез Паскаль считал, что патриотизм, как его понимали в ту эпоху, есть чувство глупое и разграничивал интересы подданных и интересы короля. Жан де Лабрюйер полагал, что *patrie* и абсолютная монархия являются взаимоисключающими понятиями. «*Patrie* не существует при деспотизме – она подменяется другими вещами: королевскими интересами, королевской славой и службой королю» [68]. Впрочем, вслух это не говорилось, во всяком случае, на протяжении большей части царствования Людовика XIV, хотя к концу этой эпохи подобное мнение стало более распространенным. Во второй половине XVII в. патриотизм был чувством, тешащим самолюбие, – тогда можно было соглашаться, что этот век действительно *grand siècle* для Франции, век славы и величия, а Людовик XIV – Великий монарх, что Родина – общая мать для короля и его подданных и что государство Франция и король – едины.

Покуда организованная общность (*polity*) определяется той властью, под которой она находится, на самом деле трудно отделить ее образ от образа короля, являющегося своим собственным первым министром. Тем не менее личное правление Людовика XIV сопровождалось усиленным ростом государственного административного аппарата. Административная централизация наглядно выражалась в распространении незаинтересованной бюрократии (незаинтересованной в том смысле, что у нее не было иных интересов, кроме как государственных, т. е. чтобы управление страной шло как по маслу). «Именно с развитием бюрократии, – писал Жорж Паже (*Georges Pagès*), – государственные секретари в центре и интенданты на местах (и следует добавить король через них) устанавливали свою власть в королевстве. Интендантов, 30 *maîtres des requêtes*, послали в провинции, и от них «полностью зависело разорение или процветание этих провинций» [69]. Ненавистные интенданты в эту эпоху надолго стали всемогущими агентами центрального правительства. В отличие от своих предшественников при Ришелье и Мазарини, у которых были соперники – *officiers*, все еще сохранявшие важную административную власть, интенданты Людовика XIV отобрали у *officiers* все их функции, а также взяли на себя все судебное администрирование. Фактически они контролировали сбор налогов, вместе с губернаторами провинций (каковые обычно были грандами королевства) осуществляли надзор над землями этих провинций, а вместе с епископами – над землями церковными, и отняли у *parlements* административный контроль над армией, управление местными общинами, апелляции местным судам, исполнение приговоров, назначенных королевским или церковным судом, оценку и помощь при строительстве монастырей, начальных школ, средних школ и университетов и проведение реформ в этих заведениях. Они отобрали у *parlements* права на регистрацию религиозных отступников и новообращенных, в общем они стали осуществлять генеральное руководство в юридической, коммерческой, сельскохозяйственной и промышленной администрации [70]. Короче, они и управляли Францией, тем самым лишив влияния и любых источников власти возможных лидеров оппозиции. В целом результат их правления был благоприятным. Даже Паже, не слишком симпатизировавший централизации власти, вынужден был согласиться, что при интендантах государством стали лучше управлять и простым людям жить стало легче. Но

его оценка этической значимости их правления была недвусмысленной. Именно интендантская администрация познакомила нацию с королевским **деспотизмом** [71].

Кто-то теряет, кто-то находит. Так и случилось с французским абсолютизмом. Нашедшие – в данном случае те, кто считал эти времена эпохой невиданного ни до, ни после гражданского благосостояния, по потерявшие – те, кто считал их эпохой деспотизма. Абсолютизм победил при Людовике XIV, но (если заимствовать метафору из бурной истории другого «изма» – борца), он породил «собственных могильщиков». Некоторые из них были жертвами этого насильственно-победного насаждения абсолютизма. Большинство, однако, разделяло огромную уверенность в себе защитников абсолютизма, а, кроме того, они придерживались ошибочного мнения, что для того чтобы власть была неоспорима, ее вовсе не требуется насаждать насильственно.

Религиозная политика Людовика XIV привела к росту недовольства у гугенотов. Гугенотство было главным источником независимости во Франции, и понятно, почему король пожелал его подавить. Задавшись этой целью, можно было бы подумать лишь о более мягких средствах ее достижения, но способы, которыми эта цель была достигнута, оказались весьма жестокими. Отчуждение гугенотов сыграло очень важную роль в развитии французской национальной идеи. Подавляемое и угнетаемое меньшинство, они стали, как и в прежние времена, времена религиозных войн, одними из первых, кто обвинял систему в целом, и кто сражался за всех ее жертв. Они считали свою дискриминацию всего лишь особым выражением общей линии, затрагивающей жизнь и других слоев населения. Они называли эти слои – знать, *parlements*, крестьянство и даже католическое духовенство – и подчеркивали общую связь между ними и собой. Таким образом, они назначили себя глашатаями и представителями общности – переосмысленного «state» (государства) и народа (*people*). Государству самой короной придавался глубочайший, духовный, фактически религиозный смысл. Оно было признано сакральной сферой еще со времен Ришелье. Гугеноты отобрали это естественное продолжение божественного права у архитекторов абсолютизма и обратили его против них. Они противопоставили общество (общность) – жертву угнетения – монарху, который был истинным источником этого угнетения и *ipso facto* главным угнетателем.

Ссылный гугенот, по всей вероятности Пьер Журье (*Pierre Jurieu*), написал знаменитый трактат *The Sighs of Enslaved France, Who thirsts for Liberty*, свидетельствующий о величайшей трансформации в представлении об общественном порядке. (Имеется в виду организованная общность.) «Государство Франция, – пишет автор, – в результате тиранического правления, беспрецедентного по своим требованиям к подданным и по своему безразличию к общему благу, стало неотлично от плебса. Французская общность стала идентична народу». «Прежде всего, следует понимать, – писал он, – что при нынешнем правительстве любой человек принадлежит к черни. Мы больше не при знаем различий по достоинству, рождению, заслугам. Королевская власть поднялась так высоко, что все различия исчезают и все заслуги утеряны. С высоты, на которую вознесся монарх, все люди не что иное, как пыль под его ногами. Нищета и страдания стали уделом не только низших, но и самых достойнейших и благородных людей государства». Само по себе такое развитие событий достаточно удручало. Но в силу того, что так случилось, изменилась природа дискурса, и противникам политики Людовика XIV открылись серьезные возможности ей противостоять. «Чернь» облагородилась, поскольку в нее влились люди, лишившиеся своих привилегий благодаря тому, что ко ролю эти привилегии были глубоко безразличны. Народ (чернь) получил дозу голубой крови и просто чернью больше уже считаться не мог. Он пошел дорогой сакрализации. В этом конкретном случае фактическое отождествление государства и народа позволило Журье утверждать, что нищета народа (то есть крестьян), есть нищета государства. Использование термина «государство» потенциально было сильнейшим рито-

рическим приемом. Политика «короля-солнце» и особенно его военные начинания легли на плечи крестьянства тяжелым бременем. Крестьяне и при меньших-то притеснениях, едва-едва сводили концы с концами. Нищета крестьянства была просто ошеломляющей. Но, по скольку страдало от нее лишь крестьянство, те, кому посчастливилось не принадлежать к этому сословию, редко были ошеломлены крестьянской нищетой. Однако в связи с тем, что крестьянскую нищету представляли в качестве общей, тем самым она становилась общей заботой всех слоев населения. Другие социальные группы начинали осознавать, каким опасностям они подвергаются при правительстве, для которого все равны.

Журье в основном описывал сбор налогов, от которого крестьянство страдало в наибольшей степени, и делал это убедительнейшим образом. Он объяснял своим «несчастливым дорогим соотечественникам, насколько тяжелым было бремя налогов и насколько оно не является необходимым. По его оценке сумма налогов, собираемых во Франции, намного превосходит суммы, собираемые в любых других странах. А деньги эти идут на удовлетворение эгоистических интересов короля и на обогащение низкородных сборщиков налогов. Такая грабительская политика незаконна. «Короли, – доказывает Журье (снова повторяя то, что писали в XVI в.), поставлены на родом, чтобы охранять его (народа) жизнь, свободу и достояние. Но правительство Франции дошло до такой беспредельной тирании, что король сегодня считает – абсолютно все принадлежит только ему одному. Он устанавливает налоги самовольно, не советуясь ни с народом, ни со знатью, ни с Генеральными Штатами, ни с *parlements*, в точности так же, как это делают магометанские повелители Турции и Персии и Великие моголы, считая себя единственными хозяевами всякой собственности. Я молю вас подумать и осознать, под какой властью вы находитесь», – пишет автор. Вот потрясающий отрывок. В нем автор решительно отделяет короля от государства. «Случается так, – пишет автор, – что повелители и суверены принимают меры, которые кажутся излишними и причиняют большое неудобство отдельным личностям, но нужды государства требуют эти меры осуществить. Во Франции дело обстоит не так... Место государства здесь занял король. Служба – королю, защита интересов – короля, сохранение провинций – короля и умножение богатств – короля. Получается, что королю – все, а государству – ничего. Король стал идолом, которому приносятся в жертву все повелители, малые и великие, семьи, провинции, города, деньги – в общем, совершенно все. Так что не для государства производятся все эти ужасные поборы – ибо государства больше нет» [72].

Две группы населения можно было ассоциировать с королем, и их тоже считали тиранами и кровопийцами. В первую входили финансисты и откупщики. В общественном сознании эта группа была криминализована рано и это было тревожным знаком для новых групп населения, чей статус зависел от богатства. Ко второй принадлежали низкородные министры – их возвышение оскорбляло кровных аристократов, ибо эти новые «великие, поднявшиеся “из грязи, да в князи”, – за являл автор, – служат лишь для того, чтобы унижать и уничтожать древние роды». Государство стали определять как «народ», и благо государства стали подчеркнуто считать народным благом. При этом совершенно очевидно, что честный защитник этих благородно-революционных идей полагал невозможным моральное оправдание возвышения из «грязи в князи». Он страдал по добрым старым временам, когда каждый знал свое место. «Общее (народное) благо» относилось к со хранению властных интересов. Главное преступление короля состояло в том, что ему не было дела ни до интересов населения, ни до интересов аристократии. Абсолютизм был для своего времени революционным, и старый строй защищался против него, как мог. Но в своем желании повернуть колесо истории назад, он готовил революцию в сознании. При ней возврата к прошлому не могло быть уже никогда.

Неуместная страсть короля к преследованию янсенистов, бестактность, с которой он пытался внедрить централизацию власти в самые дальние уголки ортодоксального сознания своих подданных, были потенциально более разрушительны для абсолютизма, чем отчужде-

ние протестантского меньшинства. Мотивы Людовика XIV в этом случае объяснить труднее. Если верить графу Сен-Симону, то король заботился вовсе не о чистоте веры. Сен-Симон рас рассказывает следующий анекдот: «Когда герцог Орлеанский собрался поехать в Испанию, он назвал офицеров, которые должны были входить в его свиту. Среди них был Фонпертюи. Услышав это имя, король напустил на себя суровый вид. – “Что ж, ты, племянник, – сказал он, – Фонпертюи – сын янсенистки, той дуры, которая всюду бегала за мсье Арну. Я не хочу, чтобы он ехал с тобой”. – “Клянусь честью, сир, – ответил граф. – Я не знаю, что делала его мать, но, что касается сына, он отнюдь не янсенист. Я за это отвечаю, поскольку в Бога он вообще не верит”. – “Возможно ли это, племянник”, – заметил король. “Я в этом абсолютно уверен, сир. Клянусь”. – “Ну, раз так – ладно, – сказал король, – бери его с собой”» [73].

Выказывая такую терпимость к атеизму, король, однако, желал, чтобы его верующие подданные верили в полнейшее подчинение. Все церковные служащие должны были подписать *Formulaire* [74]. Из-за этого многие обратились к янсенизму, и это учение скорее усилилось, чем ослабело, что способствовало расколу в галльской церкви. Для режима это было тем более плохо, поскольку янсенизм ассоциировался с настоятельным требованием дать священникам низшего ранга право на участие в церковном управлении. Эти священники вступали в борьбу с коалицией иезуитов и епископов, которые не признавали за ними такого права и обращались со священниками как с подчиненными, вообще не имеющими никаких прав. В этом коалицию поддерживал король. То, что в это дело были вовлечены иезуиты, стало особенно компрометирующим для правительства фактом, поскольку иезуиты были известны своей симпатией к ультрамонтанистам. Теперь можно было обвинить короля в том, что его религия – антифранцузская. Догматическому спору было придано острейшее политическое значение, и он превратился в борьбу за централизацию власти в религии.

Преследование янсенистов привело к отчуждению от центрального правительства очень широкой и влиятельной части населения. В результате недовольство стало распространяться и вглубь, и вширь. В работах янсенистов или духовенства и магистратов, симпатизирующих янсенизму, «истинно христианская монархия» была привязана к идее «общего блага», в то время как абсолютная монархия, на против, была антихристианской. Фенелон – отлученный от церкви, но влиятельный архиепископ Камбре, – чья ересь несколько отличалась от янсенистской, также считал, что «истинные нужды государства» тождественны «истинному благу народа» и рассматривал «государство» и «народ» как синонимы. Зловещее расхождение между королем и государством и замещение короля государством в качестве главного объекта преданности, имевшие фатальные последствия для монархии, становились делом вполне обычным.

Абсолютизм покушался на сословное общество, угрожая и раздражая тех, чье благополучие было связано с этим обществом, тех, у кого была в нем личная заинтересованность. В то же самое время, изобретая государство – новое божество, символизирующее новую политическую сакральную вселенную, абсолютизм сам снабдил своих потенциальных противников альтернативным объектом преданности и центром социального притяжения. Вокруг такого благородного идеала можно было объединиться. Теперь с королем можно было бороться не ради голого личного интереса, а во имя благородного идеала, что давало возможность испытывать чувство глубокого морального удовлетворения.

Людовик XIV следовал законам, к которым его приучали в детстве [75]. Он считал, что долг его состоит в том, чтобы быть абсолютным повелителем и искренне верил, что благо государства – в королевском величии и славе. Конечно, поклонение его собственной, неотделимой от его персоны, абсолютной власти было в интересах монарха. Хотя многие монархи нашли бы чрезмерными требования, налагаемые на властителя таковым поклонением. Но это поклонение было также и в интересах многих людей, которые, не будучи королями, однако обладали достаточными амбициями, не имея преимуществ в виде высокородного

рождения или денег, чтобы эти амбиции поддержать. Абсолютизм был великим уравнилителем. Он отличал людей, в том числе и по заслугам, и позволял подобным личностям подняться из грязи.

Но это изменило правила игры фактически без изменения ее ставок или самой игры. Социальная структура была относительно не затронута радикальными изменениями в политической сфере. У этой игры была нулевая сумма. Если кто-либо завоевывал власть и влияние и с помощью них главную награду – статус, то это было доказательством того, что кто-нибудь другой его (этот статус) терял. Порождая новых победителей, вместе с ними абсолютизм одновременно порождал неудачников. Более того, и в этом и состоял его колоссальный просчет, он их ставил в такое положение, когда они ощущали свой неуспех очень остро, и давал им вдоволь над этим поразмышлять. Самые грозные противники абсолютной монархии вышли совсем не из тех немногих людей, которые выражали чаяния этатизма, нет, они вышли из массы недовольного дворянства – по рождению ли, мечу ли, мантии ли, все более набираемому из среды *officiers*, чьи обиды и недовольство они и артикулировали. Вырывая власть из рук знати, король и министры Франции XVII в. устанавливали абсолютизм *de facto*. Но, поскольку они оставили аристократию существовать и сохранили ее привилегированное социальное положение, то не могло остаться и тени сомнения, что его (абсолютизм) не примут добровольно. Благородное сословие все болезненнее осознавало тревожащую неустойчивость своего положения. Дворянские привилегии, не связанные более ни с какой полезной функцией и в силу этого отрезанные от источников власти и влияния, казались, растворились в воздухе. Дворяне ощущали подавленность и угнетенность. Именно это бедственное положение самого гордого сословия французского королевства побудило многих его членов перенести свою преданность особе короля на государство. Когда царствование Великого монарха стало клониться к своему закату, сложившаяся ситуация подготовила Францию к тому, чтобы воспринять идею нации.

Социальные базы национализации французской идентичности и характер зарождающегося национального самосознания. Обороты социального колеса: тяжелое положение французской аристократии

Шоссинан-Ногаре (Guy Chaussinand-Nogaret) говорит, что «к 1789 г. знать стала маргинальным меньшинством французского общества, ходила под постоянной угрозой приговора» и что «в 1789 г. аристократы были королевскими евреями» – сказано, по жалуй, слишком сильно [76]. Хотя по закону она была вторым сословием в королевстве, знать до самого 4 августа 1789 г., отменившим все сословные различия (кстати, отмена этих различий произошла, во многом, по ее же, знати, инициативе), оставалась первым сословием, если говорить о социальном престиже. Она была бесспорной элитой страны, ее самым привилегированным слоем. Принадлежать к знати – было мечтой всех амбициозных членов общества. Образ жизни аристократии являлся образцом для подражания у большинства обычных людей [77]. И все же, нет сомнения в том, что в течение ста предреволюционных лет знати в целом, и особенно ее высшему слою – аристократии, жилось нелегко. Они жили под постоянной угрозой – они теряли статус.

В 1707 г., по оценке Вобана (Vauban), во Франции было 52 000 благородных семей, примерно 260 000 человек. Армореал-генерал Дозье (D’Hozier’s) насчитывал 58 000 генеалогически значимых, благо родных имен. Туда были включены, по общему мнению, примерно трое из каждых десяти знатных людей, и, следовательно, их число приближалось к 190 000 человек [78]. Пятьюдесятью годами позже аббат Куэ (Coquer) считал, что количество знатных людей практически вдвое больше, и они составляют примерно 1–2 % населения (400 000 человек). Все население насчитывало 20 000 000 человек [79]. Согласно Шоссинану-Ногаре, в течение XVIII в. в благородное сословие вошли 6500 семей, и, по крайней мере, столько же семей получили дворянство в XVII в. [80]. Психологические последствия такого увеличения количества знатных людей, как для старой аристократии, так и для тех, кто пребывал, так сказать, во вторых ее рядах, должны были быть ошеломительными, с какой бы стороны на это ни смотреть. Такое расширение не могло не дестабилизировать (и в очень большой степени) высший слой этого сословия – аристократию, куда и влилась большая часть новой знати.

Хотя в принципе люди благородного сословия все были равны и равно лишены политической власти, внутри сословия существовали большие различия, как по статусу, так и по благосостоянию. И эти две иерархии не покрывали друг друга, а, скорее, перекрещивались, создавая ненормальное психологически дезориентирующее положение. Знатные люди, без сомнения, принадлежали к самым богатым подданным короны, но большинство знати было в числе бедного, часто нищего населения. Законодательство о подушном налогообложении (от 1695 г.) позволяет оценить экономическое положение благородного сословия. Это законодательство разделяло население на двадцать две группы, не зависимо от их сословного статуса. Люди, принадлежащие к первой группе, должны были уплачивать налог в размере 2000 ливров в год. Это была знать старая или новейшего происхождения. К ней принадлежали принцы крови, министры и генеральные откупщики. Но и в девятнадцатой группе знать тоже встречалась. К этой группе принадлежали те, у кого не было дома или жалованного земельного надела. В этой группе налог составлял 6 ливров в год. Знать в ней приравнивалась «к ремесленникам во второстепенных городах, владеющих лавками и нанимающих сезонных рабочих» [81]. Нищие освобождались от уплаты налогов. Тем не менее мы знаем, что и среди них встречалась голубая кровь. Основываясь на данных подушного нало-

гообложения, Шоссинан-Ногаре разделил знать на пять более широких категорий. К первой он отнес тех, кто платил 500 или более ливров в год (первая и вторая группы из двадцати двух) и имел, по крайней мере, 50 000 ливров годового дохода. Эта группа насчитывала не больше 250 семей (1100–1200 человек или менее 1 %). Жили они в основном в Париже и принадлежали как к совсем старой («бессмертной»), так и к новейшей знати. Ко второй категории (13 %) в основном принадлежала провинциальная знать. К их числу относились те, чей годовой доход колебался между 10 000 и 50 000 ливрами; 25 % знати имели годовой доход от 4000 до 10 000 ливров и все равно могли позволить себе жить припеваючи. Ниже этого уровня необходимо было уже экономить, 41 % знати экономно жили на 1000 и до 4000 ливров в год. Но у оставшихся 17 % годовой доход был еще ниже, и у некоторых он был 500, а у некоторых и 50 ливров. Бедный *gentilhomme de Baucе/Qui reste au lit pendant qu'on rassoиode ses chaussures* (дворянин де Бос, который вынужден оставаться в постели, пока ему штопают штаны) – не плод воображения. Не включаемые в налогооблагаемое население, живущие в ночлежках и в домах призрения, заключаемые в тюрьму за ничтожные долги или вынужденные просить милостыню, эти дворяне вели жизнь, сравнимую с жизнью беднейших крестьян. Что общего могло быть у них с принцем де Робекон, у которого один счет за поставляемую ему еду достигал 58 000 ливров и который тратил на книги, приглашения на концерты и другие культурные развлечения более 2000 ливров ежегодно, или с мадам де Матиньон, платившей 24 000 ливров в год своему парикмахеру [82]?

Но в некоторых отношениях благородным беднякам жилось лучше, чем многим их более обеспеченным собратьям. Бедная ли, богатая, старая или новая, французская знать ненавидела условия, в которых ей приходилось жить. Трудно сказать, какая из групп, страдала больше. В то время как трудности положения бедных *hobereaux* были экономическими, аристократия, купавшаяся в роскоши, была подвержена «жесточайшим, душевным срывам», мукам тревоги за свой статус [83]. Возможно, нам трудно прочувствовать ту важность, которую сословное общество придавало понятию «честь». Очевидно одно, что в этом социуме статус был дороже жизни. В противном случае, не возможно, например, объяснить аристократическую страсть к дуэлям. Только потому что это явно выделяло их из обычного большинства, аристократы так яростно настаивали на своем праве быть убитыми или искалеченными по самому ничтожному поводу. Именно поэтому они так настойчиво отвергали все попытки короны прекратить взаимное смертоубийство, считая их признаком деспотизма. Именно поэтому, как только власть ослабила свою хватку, они кинулись опять друг на друга с саблями наголо, возобновив эти бессмысленные сражения, ибо ничто больше не ценили они так высоко, как свою свободу пребывать в постоянной близости к насильственной смерти и убийству [84].

Не вся знать была одинаково знатна. Начать с того, что второе сословие было поделено на два: *gentilshommes* и все остальные знатные люди. Только *gentilshommes* были знатными по-настоящему. В число их предков никогда не входили люди неблагородного звания. На деле эквивалентом вечности, по общепринятому мнению, служили четыре поколения благородных предков. Новоиспеченный дворянин становился членом благородного сословия, но не *gentilshommes*. Эта эксклюзивная категория также имела свое деление по престижу. «На самой вершине человеческого величия и вершине иерархии среди всех живущих на земле», стояли *gentilshommes de nom et d'armes* – истинно древнейшая аристократия [85]. Потомки дворян, которые в четвертом поколении стали *gentilshommes*, никогда бы не смогли получить ранг *gentilshommes de nom et d'armes*. Ниже них, но все еще выше обычных *gentilshommes*, находились *gentilshommes de quatre lignes*, господа, чьи предки, как по женской, так и по мужской линии были *gentilshommes*, по крайней мере в течение трех поколений. Три поколения *gentilshommerie* по мужской линии требовалось для того, чтобы принадлежать к *noblesse de race*. К XVIII в. самая родовитая аристократия, чья родословная терялась

в глубинах XIV в., составляла только 5 % знати в целом [86]. Что касается менее именитой *poblesse de race*, то ее возможно было, по крайней мере, так же часто встретить, как среди бедных *hobereaux*, так и среди блеска двора.

Профессиональное или функциональное разделение знати составляло другую иерархию престижа. Тут существовало важное различие между знатью военной, *poblesse d'érée*, и знатью чиновной, *poblesse de gobe*. В целом, у военной знати статус был выше, чем у чиновной (судейской) знати, военная знать была «знатнее», но к ней принадлежали как раз беднейшие слои. Каждая из этих *poblesse* имела собственную статусную иерархию, и в каждой была своя аристократия. Аристократию военную составляли придворные короля, которые либо жили при дворе и несли определенную службу при короле или королевском семействе, либо они были представлены ко двору. Чтобы быть представленным ко двору, требовалось доказать свою трехсотлетнюю принадлежность к военной знати в 1732 г., а в 1760 г. – уже 360-летнюю. Однако королевским министрам, канцлерам и государственным секретарям не нужно было соответствовать этому требованию. Не нужно этого было и маршалам Франции и кавалерам Ордена Святого Духа. Если король того желал, то ему могли быть представлены и другие особы. К 1789 г., по оценке Мунье (Mounier), придворная знать насчитывала 4000 семей или 20 000 человек, и из них только у 942 имелось искомое доказательство «древней» знатности [87].

Абсолютистский двор был созданием XVII в. и достиг своего расцвета при Людовике XIV. Венцом стал Версаль. Действительно, «строительство Версаля, – как заметил проныцательный историк, – было важнее и имело более серьезные последствия для Франции, чем любая из войн Людовика XIV или чем все его войны в целом» [88]. Придворная аристократия находилась на самом верху социальной лестницы. Она стояла надо всеми. Это была «отдельная страна», о которой другие жители Франции могли лишь грезить и куда они мечтали «иммигрировать». Но обитатели Олимпа, вызывающие столь великую зависть, были несчастливы. «Есть некая страна, где радости явны, но притворны, а горести глубоко скрыты, но подлинны. Кто поверит, что спектакли, громовые рукоплескания в театрах Мольера и Арлекина, охота, балет и военные парады служат лишь прикрытием для бесчисленных тревог, забот и расчетов, опасений и надежд, неистовых страстей и серьезных дел?» Так писал об этой стране Лабрюйер¹³ [89].

Олимпийцы тоже различались по рангу. На самом верху стояли герцоги и пэры Франции. Само собой, они также различались по знатности. Принцы крови, являвшиеся пэрами по рождению, стояли выше всех остальных пэров, которыми изначально были 12 великих феодалов. В течение XVII в. состав этой группы менялся. К 1715 г. существовало уже 55 пэрств, большинство из которых было новейшего происхождения и вело свою родословную с 1600 г. Этот титул был самой большой честью, которую король мог оказать своему подданному. Те, кому его давали, обычно уже принадлежали к высшей военной знати. В 1650 г., к негодованию грандов, плебей канцлер Сегье был удостоен герцогства. А в 1651 г. его герцогство стало *duché-pairie*. Однако Провидение отказалось участвовать в абсолютистских капризах. Канцлер, хотя и был пэром, не произвел на свет ни одного наследника мужского пола, и пэрство его вернулось к *poblesse d'érée* [90].

К сожалению, нельзя было все время рассчитывать на вмешательство Провидения, и жизнь пэра или герцога была нелегка. Пэры, как и вся остальная знать, были беспомощны перед Джаггернаутом абсолютизма, который лишал их всяческого влияния, уравнивал их со своими новыми креатурами и, казалось, хотел свести их ко всей остальной человеческой расе. До 1667 г. герцоги и пэры были по праву членами *Conseil des Parties* и могли участвовать в управлении государством. Затем, пока Людовик XIV консолидировал свою личную власть,

¹³ Характеры, или Нравы нашего века. М.; Л.: Худ. лит., 1964 / Пер. Э. Линецкой и Ю. Корнеева. – Прим. пер.

они могли заседать в совете только по приглашению. После 1673 г. их туда уже никогда не приглашали. Король проводил твердую политику – он лишал своих наиболее влиятельных подданных даже самой малой крупницы политической власти и это касалось отнюдь не только изгнания их из королевских советов. Он действительно сознательно и планомерно не давал самой опасной для него части знати, какой бы то ни было полезной работы. Он предпочитал раздавать командные посты людям менее знатным и низкородным или своим незаконным детям, *légitimés*, которые от него полностью зависели. Возвышение бастардов особенно задевало принцев крови, герцогов и пэров, и они не уставали сокрушаться по этому поводу. «Положение незаконнорожденных теперь почитается ниже принцев крови, но выше пэров, даже самого древнего рода. Это причиняет нам большую боль и есть самое величайшее бедствие для пэрства, его проказа, его постоянное страдание... Король доволен всем... что способствует возвышению его незаконнорожденных детей и ущемлению принцев крови». Мир был скандализован тем, что король упорно старался выдать своих незаконных дочерей за принцев крови. Когда подошла очередь герцога Шартрского (племянника короля и будущего регента), его отец и брат короля «сгорал от стыда» при виде такого «недостойного» союза [91]. Но королю следовало подчиняться. Возмущенный столь позорным происхождением своей жены, герцог Шартрский, как говорят, нашел утешение в кутежах и бесчинствах. Монсиньор отец считал, что виной этому сыновье безделье, тот факт, что при дворе ему не нашлось никаких серьезных обязанностей. Он «бы хотел, чтобы его сын нес службу, которая бы отвлекала его от этих интрижек, и умолял короля дать ему какое-либо дело. Но мольбы его остались втуне». В *L'Instruction du Dauphin* Людовик объяснял свои действия следующим образом: «Я считал, что не в моих интересах продвигать людей... обладающих высоким положением, потому что... очень важно, чтобы люди знали, что у меня нет намерения делить власть с теми, кого я выберу, поскольку ранг у них невысокий» [92]. Так что Сен-Симон имел основания сказать, что «во Франции лучше всего ничего не иметь и быть бастардом» [93].

При Людовике XIII и Ришелье, да и во времена Фронды, аристократия еще как-то старалась бороться с абсолютной властью. При Людовике XIV она признала свое поражение и всю свою энергию сосредоточила на проблемах борьбы внутри аристократической иерархии. Невозвратная потеря политического влияния и близости к королю подорвала статус грандов. То, чем занимались герцоги и пэры при дворе «короля-солнце», может показаться смешным и ребяческим, но этим они пытались компенсировать свои потери. Табель о рангах, которая в этой ситуации имела лишь ритуальное значение, стала единственным доказательством высокого положения дворянства, и ее порядок должен был поддерживаться любой ценой. Колоссальная важность, придаваемая Табели о рангах во времена расцвета абсолютизма, проливает свет на ситуацию в целом. Великие и гордые пэры по своему положению превратились в детей. Лишенные всякой независимости, не уважаемые, они направили всю свою подавляемую энергию на интриги друг против друга и в страхе искали милости у повелителя, чью высшую власть они уже не осмеливались оспаривать. Их преувеличенная забота о формальном достоинстве сосуществовала с удивительно униженно-ничтожным, недостойным поведением при общении с королем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.